Сентябрь — 1928. № 7. Цена 15 сентов.

Р 4-4
Рос 1-105



ПРОБУЖДЕНИЕ

ОРГАН СВОБОДНОЙ МЫСЛИ

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Л. Н. ТОЛСТОГО.

СОДЕРЖАНИЕ:

Толстой, как анархист—Е. З. МОРАВСКИЙ
Лев Толстой — — — Б. ВЫШЕСЛАВЦЕВ
Толстой и его учение — Проф. Ф. ОНДЕРДОНК
Толстой, как художник — АЛ. ФОВИЦКИЙ
Апостол Христа — — Б. ГЕРШЕНФЕЛЬД
Яснополянская школа — Л. Н. ТОЛСТОЙ



Рос 4-4 / 1-105

ПРОБУЖДЕНИЕ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОРГАН СВОБОДНОЙ МЫСЛИ.

ИЗДАНИЕ РУССКИХ ПРОГРЕССИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И КАНАДЫ.

Адрес:

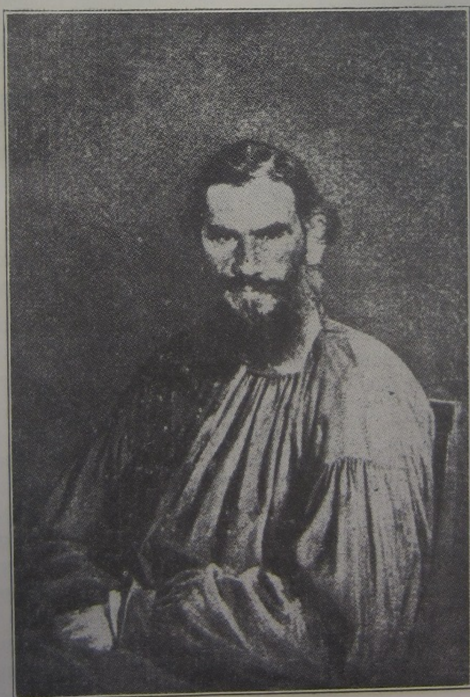
PROBUZHDENIE

9219 RUSSELL STREET DETROIT, MICH.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА 13 ОТДЕЛ им. В. И. ЛЕНИНА

64-194

№ 7 СЕНТЯБРЬ, 1928.



Л. Н. ТОЛСТОЙ (1828-1910)

С портрета И. Н. Крамского.
(Третьяковская Галлерея).

Е. З. МОРАВСКИЙ.

ТОЛСТОЙ, КАК АНАРХИСТ

ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

Льва Николаевича Толстого мы называем не только великим художником слова, но и великим знатоком русской души. Во всех его художественных произведениях, как и в произведениях Достоевского, необычайно ярко отражается вся наша русская стихийность. Поэтому нам близок и дорог Толстой. С этой точки зрения мы и считаем Толстого великим.

Но Толстой велик еще и в другом отношении. Толстой велик еще и потому, что он ушел от "ликующих и праздно болтающих" и стал на сторону "униженных и оскорбленных." Оскар Уайльд назвал когда то Кропоткина "вторым белоснежным Христом, идущим из России", но если бы Уайльд встретился с Толстым ,то и его назвал бы, очевидно, новым Христом.

Толстой и был для нашего времени новым Галилеянином. Правда, русское духовенство, усердно лакействовавшее перед царским правительством, об'явило его самым ужасным врагом христианской церкви, но все это не имело решительно никакого значения. Нынешний полный развал русской православной церкви только подтверждает правоту Толстого. Каждый русский священник должен сейчас согласиться с тем, что правда была на стороне Толстого.

Он относился, как известно, отрицательно к казенным христианским церквам. Он утверждал, что "между церквами, как церквами, и христианством не только нет ничего общего, кроме имени, но это два совершенно противоположные и враждебные друг другу начала." ("Царство Божие внутри вас".)

Истинная же религия, по его мнению, заключается не в молитвах и не в церковных обрядах, а в соблюдении заповедей Христа.

"Религия, — говорит Толстой, — не есть раз навсегда установившаяся вера в совершившиеся будто бы когда то сверхестественные события и в необходимость известных молитв и обрядов; не есть также, как думают ученые, остаток суеверий древнего невежества, который не имеет в наше время значения и применения в жизни; религия есть установленное, согласное с разумом и современными знаниями отношение человека к вечной жизни, к Богу, которое одно движет человечество вперед к предназначенной ему цели." ("Что такое религия?").

Толстой был великим апостолом правды и справедливости. Вот этого Толстого и не любило русское духовенство. Этого Толстого не любят и "не признают" очень часто даже те люди, которые любят Толстого - художника. Поэтому то, очевидно, этот Толстой и игнорируется многими литературными критиками. Если речь идет об этом Толстом, то от него отрекаются и многие "толстовцы." В подобных случаях эти "толстовцы" заявляют, подобно Петру, отрекшемуся от Христа: "Мы не знаем сего человека." Это относится больше всего к разным литературным критикам.

Но мы не можем отрекаться и от этого Толстого. Этот Толстой более близок и дорог русскому трудовому народу, чем Толстой - художник. Этот Толстой дорог нам еще и потому, что он не только восставал против общественной неправды и несправедливости, но и указывал пути к правде и справедливости.

Не пошел же русский народ этими путями потому, что самые "передовые" русские люди, самые непримиримые "толстовцы" отреклись от этого Толстого, а указанные им пути к правде и справедливости назвали путями ложными.

Эти "передовые" люди пошли по другим путям. Более прямыми и верными путями им показались пути Карла Маркса.

Толстой предвидел, к чему приведут Россию эти прямые пути. Толстой знал, что эти пути — неверные, но в этом явлении он видел какую то неумолимую неизбежность. Дело в том, что правящие русские классы тоже шли слишком прямыми путями к общественной неправде и несправедливости.

Потому то Толстой и говорил этим правящим классам, что их нечеловеческое отношение к русскому трудовому народу вызовет в России страшную социальную катастрофу. Эта катастрофа и разразилась в России в 1917 году. Вот что писал Толстой еще в 1886 году:

"Как ни стараемся мы скрыть от себя простую, самую очевидную опасность истощения терпения тех людей, которых мы душим, как ни стараемся мы противодействовать этой опасности всякими обманами, насилиями, задобриваниями, — опасность эта растет с каждым днем ,с каждым часом и давно уже угрожает нам, а теперь назрела так, что мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим и заливающим нас морем, которое вот -вот гневно поглотит и пожрет нас. Рабочая революция с ужасами разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живем уже лет 30 и только пока, кое как разными хитростями, отсрочиваем взрыв ее." ("Так что же нам делать?").

Пророчество Толстого осуществилось. В России произошла такая страшная социальная катастрофа, что она разрушила до основания благополучие правящих классов, но не принесла ничего хорошего и трудовому народу. В 1917 году сошлись прямые пути правящих и бедных классов и столкнулись, но результаты этого столкновения оказались трагическими для обоих классов. Кто виноват в этом — это другой вопрос. Если бы Толстой дожил до этой катастрофы, то он сказал бы, вероятно, что виноваты и те, и другие. Виноваты потому, что те и другие отказались соблюдать заповеди Христовы. Виноваты потому, что идеал Христа — идеал свободы, равенства и братства — заменили языческим идеалом.

ЛЮБОВЬ.

Эти люди забыли самую главную заповедь Христа: "любите друг друга." Если же люди забыли эту заповедь, то на земле не может осуществиться царство правды и справедливости .

Что же такое любовь? Многие люди думают, что всякая любовь — это страдания и трагедия. Многие из нас еще и сейчас утверждают, что любовь — это какое то стихийное начало, что она делает людей не только ангелами, но и самыми ужасными чудовищами. Но мы ошибаемся. Истинная любовь никогда не делает людей чудовищами. Если же человек становится иногда чудовищем, если он совершает какое либо ужасное преступление, то на это преступление толкает его не любовь, а иное чувство. Истинно-любящий не может совершить преступления. Истинная любовь никогда не ведет человека ко злу. Если же человек совершает то или иное преступление, то совершает его потому, что его душа не озарена еще светом любви. В душе такого человека живет чувство ненависти.

Мы очень часто думаем, что есть любовь небесная и любовь земная, и что только любовь небесная ведет человека к добру. Любовь же земная, с нашей точки зрения, ведет человека и к хорошим и к дурным поступкам. Вот эта то чувственная любовь и является, по мнению многих людей, любовью стихийной. Такая любовь и является очень часто для человека подлинной трагедией. Но Толстой говорит, что и такая любовь не может быть для человека страданием и трагедией. Вот что говорит об этом Толстой (Левин):

"По моему любовь . . .обе любви, которые, помнишь, Платон определял в своем **Пире,** — обе любви служат пробным камнем для людей. Одни люди понимают только одну, другие — другую. И те, которые понимают только неплатоническую любовь, напрасно говорят о драме. При такой любви не может быть никакой драмы. По-

Листов печатных 3

корно вас благодарю за удовольствие, мое почтение, — вот и вся драма. А для платонической любви не может быть драмы, потому что в такой любви все ясно и чисто, потому что“. . . . (“Анна Каренина“).

“Истинная любовъ, по Толстому, есть состояние благоволения ко всем людям, которое присуще детям, но которое во взрослом человеке возникает только при отречении от блага животной личности.“

“Кто из живых людей, говорит он дальше, не знает того блаженного чувства, хоть раз испытанного и чаще всего только в самом раннем детстве, когда душа не была еще засорена всей той ложью, которая заглушает в нас жизнь, того блаженного чувства умиления, при котором хочется любить всех: и близких, и отца, и мать и братьев, и злых людей, и врагов, и собаку, и лошадь, и травку; хочется одно — чтобы всем было хорошо, чтобы все были счастливы и еще больше хочется того, чтобы самому сделать так, чтобы всем было хорошо, самому отдать себя, всю свою жизнь на то, чтобы всем и всегда было хорошо и радостно. Это то и есть, и эта одна есть та любовь, в которой жизнъ человека.“ (“О жизни“).

“Истинная любовь есть идеал полного, бесконечного божеского совершенства“. (“Царство Божие внутри вас“).

Сила любви - велика. Данте говорил когда то, что силою любви движутся все миры. Толстой же, как бы дополняя Данте, говорил о том, что силою любви движется и человек к совершенству.

Марксисты учат, что царство правды и справедливости может быть создано только силой ненависти (борьба классов). Толстой же говорит, что творческой силой является только любовъ. А поэтому и царство справедливости может быть создано только любовью. Если люди не любят друг друга, то между ними не может быть и истинного братства; если же они не являются братьями, то между ними не может быть и равенства; а если между ними нет равенства, то в жизни их нет ни свободы, ни справедливости.

Люди — сыны Божии. Поэтому то, говорит Толстой, каждая личность священна.

Почему же в современных обществах так обесценена эта священная личность? Толстой говорит, что она обесценена потому, что люди живут не по Божьему. Люди живут так, как подсказывают им их низменные животные чувства. Поэтому то на земле нет ни свободы, ни братства, ни справедливости.

РАБСТВО.

Что же имеется на земле вместо свободы и справедливости? Толстой говорит, что всюду господствует рабство. Но это рабство так замаскировано в современных обществах, что многие люди даже не замечают его.

“Мы все очень наивно уверены, говорит Толстой, что рабство личное уничтожено в вашем цивилизованном мире, что последние остатки его уничтожены в Америке и России, и что теперь только у варваров есть рабство, а у нас его нет.

“Но рабство существует всюду. В чем же оно? В том, — говорит Толстой, — в чем оно было и без чего оно не может быть: в насилии сильного и вооруженного над слабым и безоружным. Где будет насилие, возведенное в закон, там будет и рабство.

Люди повергнуты в рабство самое ужасное, худшее, чем когда либо; но наука старается уверитъ людей, что это необходимо и не может быть иначе.

Рабство со своими основными тремя приемами личного насилия: солдатства, дани за землю, поддерживаемой солдатством, и дани, облагающей всех жителей прямыми и косвенными податями, и поддерживаемой точно так же солдатством, существует точно так же как прежде.

Там же, где есть, как и во всех европейских обществах, люди, пользующиеся посредством насилия трудами тысяч людей и считающие это своим правом, — и другие люди, подчиняющиеся насилию и признающие это своею обязанностью, — там есть рабство в страшных размерах.

Покуда будет один вооруженный человек с признанием за ним права убить какого бы то ни было другого человека, до тех пор будет неправильное распределение богатств, т. е. рабство.

Деньги — это новая страшная форма рабства и так же, как и старая форма рабства личного, развращающая и раба и рабовладельца, но только гораздо худшая, потому что она освобождает раба и рабовладельца от их личных человеческих отношений.

А что же эти миллионы солдат, как не личные рабы тех, кто ими управляет? Разве эти люди не принуждены к исполнению всей воли своих владельцев под угрозой истязаний и смерти, угрозой, так часто приводимой в исполнение?“ („Так что же нам делать?“)

Толстой не придает никакого значения тем свободам, которые мы называем свободами политическими. Эти политические свободы предоставлены людям правящими классами исключительно для того, чтобы они считали себя свободными и не стремились к подлинной свободе. При помощи этих свобод правящие классы только обманывают людей. Разные же политические деятели, в том числе и социалисты, являются верными слугами правящих классов, ибо они тоже обманывают людей. Этот обман заключается в том, что все они единогласно утверждают, что все эти политические свободы в современных обществах являются нашим последним достижением. Все они утверждают, что всякие суждения об абсолютной свободе являются совершенно беспочвенными. Но Толстой признает только эту абсолютную свободу. Человек, по его мнению, будет свободным только тогда, когда исчезнет всякое насилие.

Напрасно также люди говорят и о свободе труда. Труд в современных обществах является крепостническим. Труд будет свободным только тогда, когда люди не будут работать на помещиков и капиталистов. Правда, эти эксплуататоры говорят очень часто рабочим и крестьянам: „мы не заставляем вас работать в наших фабриках и имениях; если вы не хотите работать на нас, то вы можете отказаться от всякой работы.“ Но каждый разумный человек понимает, что этот жалкий софизм не выдерживает никакой критики, ибо если рабочие и крестьяне перестанут работать у капиталистов и помещиков, то они умрут от голода. Современная общественная жизнь устроена так, что человек не может только на себя работать. Вся земля находится в руках помещиков и государства; фабрики и заводы в руках богачей. А поэтому каждый трудящийся человек и вынужден работать на этих эксплуататоров. Вот почему всякие суждения о свободе труда в современных обществах являются насмешкой над рабочими. И в этой области существует самое страшное рабство, но люди так загипнотизированы красивыми речами правящих классов и многих ученых ,особенно буржуазных экономистов, что они считают себя истинно - свободными людьми.

Почему же в нашей общественной жизни нет ни справедливости, ни правды? Почему люди насилуют и порабощают друг друга? Что же в нашей жизни является самым страшным злом?

ВЛАСТЬ

Толстой говорит, что самым страшным злом является власть. Жестоко заблуждаются те люди, которые думают иногда, что злом является только плохая власть. Всякая власть плохая. Власть никогда не может быть хорошей. Никакая власть не может существовать без насилия. А поэтому то власть и является для человека самым страшным злом. Свобода и власть явления несовместимые. Они являются смертельными врагами. Если существует власть, то не может существовать свобода; если же существует истинная свобода, то не может существовать власть. Вот что говорит Толстой о власти:

„Власть одного человека над другим, основанная на насилии, в источнике своем есть зло, и потому никакое устройство, удерживающее право насилия человека над человеком, не может сделать т о г о ,

чтобы зло перестало быть злом." ("О значении русской революции.")

"Богословская теория доказывала, что власть от Бога: Екатерины или Пугачева? она от Бога, но оставался вопрос: чья власть от Бога: Екатерины или Пуагчева? И никакие тонкости богословские не могли разрешить этого сомнения." ("Так что же нам делать?")

"Все люди, находящиеся во власти, утверждают, что их власть нужна для того, чтобы злые не насиловали добрых, подразумевая под этим то, что они суть те самые добрые, которые ограждают других добрых от злых."

"В действительности же те, которые захватывают и удерживают власть, никак не могут быть добрыми."

"Для того, чтобы захватить власть и удерживать ее, нужно любить власть. Властолюбие же соединяется не с добротой, а с противоположными доброте качествами: с гордостью, хитростью, жестокостью. Без увеличивания себя и унижения других, без лицемерия, обманов, без тюрем, крепостей, казней, убийств не может ни возникнуть, ни удержаться никакая власть." ("Царство Божие внутри вас").

Толстой говорит, что истинное христианство отрицает всякую власть. Истинный христианин не может стремиться к власти. Правда, апостол Павел говорил, что всякая власть — от Бога, но апостол Павел не был истинным христианином. Христос не хотел властвовать над людьми. Когда люди желали провозгласить его царем Иудейским, он ответил им, что "царство его не от мира сего." Своим же ученикам он говорил: "Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так; а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления других." (Мф. 20, 25-28). Вот почему Толстой и утверждает, что "даже как то смешно говорить о властвующих христианах."

Природа всякой власти — природа антихристианская. Христианское жизнепонимание отвергает всякую власть человека над человеком.

ПРАВИТЕЛЬСТВО.

Правительство существует только потому, что существует власть. Правительство не может быть безвластным. Правительства не могут быть и хорошими, ибо их деятельность сводится только к порабощению человека.

"Если правительства, — говорит Толстой, — были нужны прежде для того, чтобы защищать свои народы от нападения других, то теперь, напротив, правительства искусственно нарушают мир, существующий между народами, и вызывают между ними вражду.

Если нужно было пахать для того, чтобы сеять, то пахота была разумное дело; но, очевидно, безумно и вредно пахать, когда посев взошел. А это самое заставляют правительства делать свои народы, — разрушать то единение, которое существует и никем бы ни нарушалось, если бы не было правительств.

Правительства, не только военные, но правительства вообще, могли бы быть, уже не говорю — полезны, но безвредны, только в том случае, если бы они состояли из непогрешимых и святых людей, как это и предполагается у китайцев. Но ведь правительства по самой деятельности своей, состоящей в совершении насилий, всегда состоят из самых противоположных святости элементов, из самых дерзких, грубых и развращенных людей.

Всякое правительство поэтому, а тем более правительство, которому предоставлена военная власть, есть ужасное, самое опасное в мире учреждение.

И таким то правительствам предоставляется полная власть не только над имуществом, жизнью, но и над духовным и нравственным развитием, над воспитанием, религиозным руководством всех людей.

Устроят себе люди такую страшную машину власть, предоставляя захватывать

эту власть кому попало, (а все шансы за то, что захватит ее самый нравственно дрянной человек) ,и рабски подчиняются и удивляются, что им дурно. ("Патриотизм и правительство.")

"Правительства в наше время –– все правительства, самые деспотические так же, как и либеральные — сделались тем, что так метко назвал Герцен, Чингис - Ханом с телеграфами."

"Мы знаем, что деятельность прави - тельств со своими, отставшими от общего уровня нравственности, жестокими приемами наказаний, тюрем, каторг, виселиц, гильотин — скорее содействует огрубению народов, чем смягчению их, и потому скорее увеличению, чем уменьшению числа насильников." ("Царство Божие внутри вас")

"Деятельность правительств не только не удерживает людей от преступлений, а, напротив, всегда расшатывая и понижая нравственный уровень общества, увеличивает их количество."

"Так что правительственная деятель - ность не только не поддерживает нравственность, а, напротив, трудно придумать более развращающее действие на народы, чем то, которое совершалось и совершается всегда и всеми правительствами.

Никогда никаким злодеям из простых людей не могло бы придти в голову совершать все те ужасы костров, инквизиций, пыток, грабежей, четвертований, вешаний, одиночных заключений, убийств на войнах, ограблений на войнах, которые соверша - лись и совершаются всеми правительства - ми, и совершаются торжественно. Все ужасы Стеньки Разина, пугачевщины и т. п. суть только последствия и слабые подражания тех ужасов, которые производили Иоанны, Петры, Бироны, и которые постоянно производились и производятся всеми правительствами."

"Так что доказывать людям, что они не могут жить без правительства, и что тот вред, который им сделают воры и граби - тели, живущие среди них, больше того вреда, как материального, так и духовного, который, угнетая и развращая их, постоянно производят среди них правительства, так же странно, как было бы во время рабства доказывать рабам, что им выгоднее быть рабами, чем свободными." ("О значении русской революции").

"Только бы люди поняли, что они не сыны каких либо отечеств и правительств, а сыны Бога и потому не могут быть ни рабами, ни врагами других людей и сами собой уничтожатся и безумные, ни на что уже не нужные, оставшиеся от древности губительные учреждения, называемые правительствами, и все те страдания, наси - лия, унижения и преступления, которые они несут с собой." ("Правительство и патриотизм").

Как это ни странно, но даже в наше время люди часто говорят о том, что та - кими вредными и ненужными правительствами являются только буржуазные прави - тельства. Эти люди говорят о том, что если бы где либо существовало правительство социалистическое или рабочее, то это правительство было бы хорошим и заботилось бы исключительно о благополучии народа. Но эти люди или заблуждаются, или сознательно обманывают других. В России существует, как известно, самое револю - ционное правительство, называющее себя и социалистическим, и рабоче - крестьянс - ким, но это правительство является самым деспотическим. Это правительство является самым преступным и злодейским.

Вот почему всякие суждения о каких то "хороших" правительствах являются совершенно бессмысленными.

ГОСУДАРСТВО

Если бы не было власти и прави - тельств, то не было бы и государств, этих "холодных чудовищ." Государство, как и правительство, существует не для блага личности. Поэтому, говорит Толстой, "христианство в его истинном значении разрушает государство."

"Для каждого искреннего и серьезного человека нашего времени не может не быть очевидной несовместимость истинного христианства — учения смирения, прощения

обид, любви — с государством, с его величием, насилиями, казнями и войнами."

"Самая жестокая ужасная шайка разбойников не так страшна, как страшна такая государственная организация. Всякий атаман разбойников все таки ограничен тем, что люди, составляющие его шайку, удерживают хотя долю человеческой свободы и могут воспротивиться совершению противных своей совести дел." ("Царство Божие внутри вас").

"Философия духа (здесь Толстой говорит о философии Гегеля) доказывала, что государство есть форма развития личностей; но оставался вопрос: можно ли государство Нерона или Чингис-Хана считать формой для развития личностей. И никакие транцендентные слова не могли разрешить этого."

"Государство взялось руководить жизнью человечества. Государство обещало людям справедливость, спокойствие, обеспеченность, порядок, удовлетворение общих духовных и материальных нужд, и за это люди, служившие государству, выгородили себя из участия в борьбе человечества за жизнь. И слуги государства, как только они получили возможность пользоваться трудом других, сделали то же ,что и служители церкви. Целью их стал не народ, а государство, и служители государства — от королей до низших чиновников, должностных лиц, — и в Риме, и во Франции, и в Англии, и в Америке и в России предались праздности и разврату. И люди изверились в государство, анархия уже сознательно выставляется идеалом." ("Так что же нам делать?").

Почему же государство страшнее даже шайки разбойников? Потому что все его преступления являются узаконенными. Его злые дела считаются делами хорошими. Когда разбойник убивает человека, государство считает это убийство преступлением. Когда же государство убивает этого разбойника, а очень часто и невинных людей, то свое преступление оно считает актом справедливости. Это значит, что всякое государство хуже самого страшного злодея и разбойника. Если разбойник убивает человека, то свой поступок он никогда не называет делом благородным. Государство же делает это. Оно не позволяет только убивать другим. Оно утверждает, что только оно имеет право убивать людей. И государство убивает их. Убивает (казнит) не только отдельных лиц, но убивает сотни и тысячи людей, как это наблюдается при подавлении революционных восстаний и во время войн. И как это ни странно, но оно оправдывает даже эти массовые убийства. Вот что такое государство.

ПРАВО.

Для чего же существует право? Право существует не для блага личности и не для блага всего человечества. Право является духовной опорой власти, правительства и государства.

Юристы постоянно говорят нам, что если бы не было права, то отношения между людьми были бы несправедливыми. В этом случае, говорят они нам, люди могли бы безнаказанно воровать, грабить и убивать. Но ведь существование права не предупреждает этих преступлений. Если бы оно могло не допустить их, то его существование можно было бы оправдывать. Но раз данное преступление совершено, то пострадавшему не становится легче от того, что преступник пойман и предан суду. Убитый от этого не воскреснет, изнасилованная девушка не обретет от этого свою девственность.

Но если юристы будут утверждать, что право хоть до некоторой степени ограждает человека от всякого насилия и зла, то почему же оно не ограждает в таком случае людей от насилия власти, правительства и государства. Почему оно защищает нас от мелких воров и не защищает никогда от самых страшных грабителей, называющихся помещиками и капиталистами. Почему этот величайший грабеж оно считает актом справедливости?

Напрасно эти юристы говорят нам и о том, что если бы не было законов, то люди не имели бы и правил поведения. Если че-

ловек поступает дурно или хорошо, то он знает это и без законов.

Христос отвергал всякие законы и суды. Он признавал только закон Бога. Он говорил: "Не судите, да не судимы будете." Когда к нему привели блудницу, которую по закону Моисея нужно было убить, Христос сказал: "Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень."

Сейчас у нас появляется следующий вопрос: если грешник не может осуждать грешника, то может ли осуждать его праведник? Может ли праведник бросить камень в грешника? Нет, он не может этого сделать. Если бы праведник бросил камень в грешника, то в это мгновение он сам стал бы грешником.

Вот почему Христос и отвергал всякие суды. Люди не могут осуждать друг друга. Людей может судить один лишь Высший судия, одна лишь Фемида. В этом, вероятно, и заключается весь смысл греческого мифа.

Поэтому то отрицает право и Толстой. Он говорит, что истинный христианин не может признавать каких бы то ни было человеческих законов. Исполнение этих законов есть нарушение законов Божиих.

"Хорошо было еврею подчиняться своим законам, говорит он, когда он не сомневался в том, что их писал пальцем Бог; или римлянину, когда он думал, что их писала нимфа Егерия; или даже, когда верили, что цари, дающие законы — помазанники Божии, или хоть тому, что собрания законодательные имеют и желание и возможность найти наилучшие законы. Но мы ведь знаем, как делаются законы, мы все были за кулисами, мы все знаем, что законы суть произведения корысти, обмана, борьбы партий, — что в них нет и не может быть истинной справедливости." ("Царство Божие внутри вас").

"Вы думаете, что ваши законы исправляют зло, — они только увеличивают его. Один есть путь пресечения зла — делание добра за зло всем без всякого различия." ("В чем моя вера?")

Вот почему, по мнению Толстого, люди должны руководствоваться в жизни не разными юридическими нормами, а заповедями Христа.

ВОЙНЫ.

Каждое правительство говорит своим подданным, что они должны служить в армии. Армия же, говорит оно, существует для блага народа, так как она защищает страну от нападения на нее других народов.

Правительства, однако, ничего не говорят о том, что войны никогда не устраиваются народом. Все люди желают жить мирно и не нападают друг на друга. Войны же устраиваются правительствами. Это они, а не народ, устраивают эти массовые убийства, называемые войнами. Войны выгодны только правительствам и капиталистам.

"Война, — говорит Толстой, — есть непременное следствие существования вооруженных людей. Страна, содержащая большую постоянную армию, рано или поздно будет вовевать. Человек, гордящийся своей силой в кулачном бою, когда нибудь встретится с человеком, который считает себя лучшим бойцом, — они будут драться. Германия и Франция только ждут случая испытать друг против друга свои силы. Они дрались уже несколько раз и будут драться опять. Не то, чтобы их народ желал войны, но высший класс раздувает в них взаимную ненависть и заставляет людей думать, что они должны воевать, чтобы защищаться.

Людей, которые хотели бы следовать учению Христа, облагают налогами, оскорбляют, обманывают и затягивают в войны.

Теперь есть люди специально воспитываемые, приготовляемые для того, чтобы убивать и насиловать других людей, — люди, за которыми признается право насиловать и которые пользуются устроенной для этого организацией — и такое насилование и убивание считается хорошим и доблестным делом." ("Правительство и патриотизм").

Поэтому то Толстой называет армию "собранием дисциплинированных убийц."

Армия нужна правительствам еще и потому, что всякое правительство опирается

на вооруженную силу. Если бы в той или иной стране не было войск, то там не могло бы существовать никакое правительство. Там не могла бы существовать никакая власть.

"Войско всегда и стояло и теперь стоит в основе власти. Всегда власть находится в руках тех, кто повелевает войском, и всегда все властители — от римских цезарей до русских и немецких императоров — озабочены более всего войском."

"Но те, которые думают, что войска содержатся правительствами только для обороны от нападений извне, забывают, что войска нужны прежде всего правительствам для обороны себя от своих подавленных и приведенных в рабство подданных." Вот для чего существуют армии.

Что же люди должны делать, чтобы избавиться от всяких войн, чтобы правители не в состоянии были при помощи солдат расстреливать рабочих и крестьян? На этот вопрос Толстой отвечает так:

"Для избавления людей от этих страшных бедствий, вооружений и войн, которые все увеличиваются, нужны не конгрессы, не конференции, не трактаты и судилища, а уничтожение того орудия насилия, которое называется правительствами, и от которых происходят величайшие бедствия людей.

Если же и после уничтожения правительств будут происходить насилия, то очевидно, они будут меньше, чем те, которые производятся теперь, когда есть специально устроенные организации и положения, при которых насилия и убийство признаются хорошим и полезным делом.

Армию эту составляем мы же, наши обманутые соседи и братья, которых уверили, что они служат Богу, защищая свою страну от врагов. В действительности же, наша страна не имеет врагов, кроме высшего класса, который взялся блюсти наши интересы, если мы только будем соглашаться платить налоги. Они высасывают наши средства и восстановляют наших истинных братьев против нас для того, чтобы поработить и унизить нас.

Единственное спасение в том, чтобы внушать людям, что убивать не хорошо, учить их тому, что весь закон и пророки в том, чтобы делать другим то, что хочешь, чтобы тебе делали. Молчаливо пренебрегайте этим высшим классом, отказывайтесь преклоняться перед воинственным идолом. Перестаньте поддерживать проповедников, которые проповедуют войну и выставляют патриотизм как нечто важное.

Пусть они идут работать как мы". ("Правительство и патриотизм").

СОБСТВЕННОСТЬ.

Армия нужна правящим классам и для защиты собственности, существование которой разделяет людей "на две касты: одну трудящуюся, а другую угнетающую, роскошествующую и веселящуюся."

Право частной собственности считается всюду священным правом. Всякое нарушение этого права считается преступлением (грабежом и воровством). Но, спрашивается, на каком основании помещики и государство землю считают своею собственностью? Кто дал им это 'священное" право? Каждый крестьянин знает, что земля — Божья, или ничья, а поэтому право на нее должен иметь только тот, кто обрабатывает ее своими собственными руками. Это значит, что право на землю имеют исключительно крестьяне, а не помещики и государство.

На каком основании также считаются собственностью промышленников разные природные богатства? На каком основании капиталист считает фабрику своею собственностью, если эта фабрика была создана рабочими, а не самим капиталистом? На каком основании этот капиталист считает собственностью свои капиталы, если эти капиталы были созданы теми же рабочими?

Вот почему "священное" право частной собственности не выдерживает никакой серьезной критики. Это право — право захватническое и разбойническое, это пиратское право. Если разбойники и пираты устраивают свои нападения на мирных людей или же на корабли, то все захваченные ими предметы они тоже считают своей

собственностью. Разве не так приобретают собственность и правящие классы? Собственностью мы можем считать только те вещи, которые мы создаем своим собственными духовными и физическими силами, если мы, создавая эти вещи, не эксплуатируем других людей. Только эти вещи мы имеем право называть своими. Но правящие классы, как мы знаем, не создают ничего. Вот как проходит их жизнь:

"Я всю свою жизнь, — говорит Толстой, —провожу так: ем, говорю и слушаю, опять ем и ложусь спать; и так каждый день я ничего другого не делаю и не умею делать. И для того, чтобы я мог это делать, нужно, чтобы с утра до вечера работали дворник, мужик, кухарка, повар, лакей, кучер, прачка; не говорю уже о тех работах людей, которые нужны для того, чтобы эти кучера, повара, лакеи и прочие имели те орудия и предметы, которыми и над которыми они для меня работают — топоры, бочки ,щетки, посуду, мебель, воск, ваксу, керосин, сено, дрова, говядину. Все эти люди тяжело работают каждый день для того, чтобы я мог говорить, есть, спать."

"В самом деле, какие мои деньги и откуда они завелись у меня? Часть их я собрал за землю, полученную мною от отца. Мужик продал последнюю овцу, корову, что бы отдать мне их. Другая часть моих денег, это деньги, которые я получил за мои сочинения, за книги. Если книги мои вредны ,то я только соблазняю тех, кто их покупают, и деньги, которые я за них получаю, дурно добытые деньги, но если книги мои полезны людям, то выходит еще хуже. Я не даю их людям, а говорю: дайте мне 17 рублей, и тогда я дам вам их. И как там мужик продает последнюю овцу, здесь бедный студент, учитель, всякий бедный человек лишает себя нужного, чтобы дать мне эти деньги."

"Это значение собственности особенно ясно выступает в тех случаях, когда об'ектом собственности являются вещи, необходимые для производства."

1) Не может быть земледельца без земли, на которой он работает ,и без косы, телеги, лошади: не может быть и сапожника без дома на земле, без воды, воздуха и орудий труда, которыми он работает.' ("Так что же нам делать?")

2) "Если у мужика нет земли, лошади и косы, у сапожника дома, воды и шила, то это значит, что кто нибудь согнал его с земли и отнял или выманил у него косу, телегу, лошадь и шило.

"Человек обеспечивает свое пропитание не тем, что он будет его отбирать от других, а тем, что он сделается полезным, нужным для других. Чем он нужнее для других, тем обеспеченнее будет его существование." Если он будет работать на других, то и другие люди будут на него работать. Ведь даже сейчас люди "не перестают кормить овцу ,быка, собаку, которая заболеет. Они даже старую лошадь не убивают, а дают ей по силам работу; они кормят семейство, ягнят, поросят, щенят, ожидая от них пользы ;так как же они не будут кормить нужного человека, когда он работает, и как же не найдут посильной работы старому и малому, и как же не станут выращивать людей, которые будут на них же работать?' ("В чем моя вера?")

Толстой, как мы видим, является сторонником общинного труда. Владение землей и средствами производства тоже, по его мнению, должно быть общинным. Только в таком случае люди избавятся от всевозможных экономических бедствий.

ИСКУССТВО.

Есть, однако, у Толстого и такие суждения, с которыми мы не можем согласиться. Некоторые вопросы, хотя и второстепенные, он разрешает как то примитивно. Его разрешение этих вопросов кажется нам несколько односторонними. Какие же это вопросы? Это — женский вопрос и искусство.

Женский вопрос не является, с нашей точки зрения, вопросом чрезвычайной важности, особенно в толстовской постановке, ибо Толстой говорит не об экономическом и правовом положении женщины, а о назначении ее, как женщины, в современной жизни. Такая постановка данного воп-

роса не является постановкой общественной. А раз этот вопрос является вопросом личных отношений между мужчиной и женщиной, то мы можем уклониться и от его обсуждения. Мы не можем обсуждать этот вопрос еще и потому, что разрешение его зависит только от женщин. Мы не можем заставлять женщину ни рождать детей, ни воздерживаться от деторождения. Поэтому вопрос о назначении женщины пусть решают сами женщины.

Искусство же является более важным вопросом. А поэтому мы и рассмотрим отношение Толстого к этому вопросу.

Толстой, как известно, отрицает искусство в его настоящем виде, и всю современную науку. Он не отрицает ее догматически, подобно многим религиозным сектантам (в том числе и многим толстовцам). Он отрицает только ложную и вредную науку. Науку же истинную он не отрицает для нашего будущего. Вот что говорит Толстой о науках будущего.

"Они будут иные, лучшие и высшие, но никак не уничтожатся. Уничтожится в них то, что было ложно; то же, что было от истины ,то только более процветет и усилится." ("Царствие Божие внутри вас").

"Науки математические, астрономические, физические, химические и биологические, так же как технические и врачебные, будут изучаемы толъко в той мере, в которой они будут содействовать освобождению людей от религиозных, юридических и общественных обманов или будут служить благу всех людей, а не одного класса." ("Что такое искусство?")

Толстой не признает современного искусства потому, что оно является совершенно безнравственным. На этом основании он относится отрицательно, в частности, и к творчеству Шекспира. Все его произведения Толстой считает "ничтожными и безнравственными."

". . . Шекспир, по его мнению, не может быть признаваем не только великим, гениальным, но даже самым посредственным сочинителем."

"Содержание пьес Шекспира, как это видно по раз'яснению наибольших его хвалителей, есть самое низменное, пошлое миросозерцание, считающее внешнюю высоту сильных мира сего действительным преимуществом людей, презирающее толпу, т. е., рабочий класс, отрицающее всякие не только религиозные, но и гуманитарные стремления, направленные к изменению существующего строя." ("О Шекспире и о драме").

Он не признает современного искусства еще и потому, что оно является достоянием правящих классов. Современных художников, поэтов и музыкантов Толстой не любит потому, что они пишут большей частью какие то безсмысленные и непонятные произведения.

Чем бессмысленнее и непонятнее произведение искусства, тем больше ценится оно почему то в современном буржуазном обществе. Такое искусство процветает всюду. Правда, Толстой почти ничего не говорит о русском искусстве, но его суждения относятся несомненно и к русскому искусству. В русском искусстве тоже имеется очень много бессмысленных и непонятных произведений. В России тоже процветает то же декаденство, которое процветает в западной Европе. Декадентским языком пишут не только французские, но и русские поэты. Так, например, Бальмонт считается у нас чуть ли не "королем поэтов", но многие стихи его тоже являются непонятными. Что же касается футуристов и имажинистов, то они и сами, очевидно, не понимают ни своих стихов, ни своих картин.

Французы, например, считают великими поэтами Бодлера и Верлена. Но Толстой не понимает этого. Вот что он говорит об этих великих поэтах:

"Каким образом французы, у которых были Шенье, Мюссе, Ламартин, а главное Гюго, у которых недавно были так называемые парнасцы: Леконт де Лилль, Сюлли Прюдом и другие, могли приписать такое значение и считать великими двух стихотворцев, очень неискусных по форме и весьма низких и пошлых по содержанию? Миросозерцание одного, Бодлера, состоит в воз-

ведении в теорию грубого эгоизма и замене нравственности неопределенным, как облака, понятием красоты, и красоты непременно искусственной. Бодлер предпочитал раскрашенное женское лицо натуральному, и металлические деревья и театральное подобие воды — натуральным.

"Миросозерцание другого поэта, Верлена, состоит из дряблой распущенности, признания своего нравственного бессилия и, как спасения от этого бессилия, самого грубого католического идолопоклонства."

"Бодлер и Верлен придумывают новую форму, при этом подновляя ее еще неупотребительными до сих пор порнографическими подробностями. И критика и публика высших классов признают их великими писателями. Только этим об'ясняется успех не только Бодлера и Верлена, но и всего декаденства."

Многие стихотворения Малларме и Метерлинка тоже "лишены всякого смысла."

"Благодаря критикам, восхваляющим в наше время грубые, дикие и часто бессмысленные для нас произведения древних греков: Софокла, Эврипида, Эсхила, в особенности Аристофана, или новых: Данта, Тасса, Мильтона, Шекспира; в живописи— всего Рафаэля, всего Миккель-Анжело с его нелепым "Страшным судом"; в музыке — всего Баха и всего Бетховена с его последним периодом, стали возможны в наше время Ибсены, Метерлинки, Верлены, Малларме, Пювис де Шаваны, Клингеры, Беклины, Штуки, Шнейдеры, в музыке — Вагнеры, Листы, Берлиозы, Брамсы, Рихарды Штраусы, и вся та огромная масса ни на что ненужных подражателей этих подражателей."

"Лучшей иллюстрацией вредного влияния критики может служить отношение ее к Бетховену. Среди, часто по заказу писанных бесчисленных произведений его, есть, несмотря на искусственность формы, и художественные произведения; но он становится глух, не может слышать и начинает писать уже совсем выдуманные, недоделанные и часто бессмысленные, непонятные в музыкальном смысле, произведения."

"Критика же, раз признав его великим композитором, с особою радостью ухватывается именно за эти уродливые произведения, отыскивая в них необыкновенные красоты." К "дурному роду искусства" Толстой относит, между прочим, и "Девятую симфонию" Бетховена.

О трилогии Вагнера "Кольцо Нибелунга" Толстой говорит следующее:

"Произведение это есть образец самой грубой, доходящей даже до смешного, подделки под поэзию." "Все это так глупо, балаганно, что удивляешься, как могут люди старше 7 лет серьезно присутствовать при этом; но тысячи квази - образованных людей сидят и внимательно слушают, и смотрят, и восхищаются."

Толстой утверждает, что современное искусство не только непонятно и недоступно, но и ненужно бедным классам. Он рассказывает, что во время постройки памятника Пушкину из Саратова в Москву приходил некий человек исключительно для того, чтобы узнать что нибудь о Пушкине.

"В самом деле, — говорит Толстой, — надо только представить себе положение такого человека из народа, когда он по доходящим до него газетам и слухам узнает, что в России духовенство, начальство, все лучшие люди России с торжеством открывают памятник великому человеку, благодетелю, славе России — Пушкину, про которого он до сих пор ничего не слыхал. Он старается узнать, кто был Пушкин,и узнав, что Пушкин не был богатырь или полководец, но был частный человек и писатель, он делает заключение о том, что Пушкин должен был быть святой человек и учитель добра, и торпится прочесть или услыхать его жизнь и сочинения. Но каково же должно быть его недоумение, когда он узнает, что . . . . вся его заслуга только в том, что он писал стихи о любви, часто очень неприличные.

То, что богатырь и Александр Македонский, Чингис - Хан или Наполеон были велики, он понимает, потому что и тот и другой могли раздавить его и тысячи ему подобных; что Будда, Сократ и Христос вели-

ки, он тоже понимает, потому что знает и чувствует, что и ему, и всем людям надо быть такими; но почему велик человек за то, что он писал стихи о женской любви,— он не может понять.

То же должно происходить и в голове бретонского, нормандского крестьянина, который узнает о постановке памятника, статуи, такой же как Богородице, Бодлеру, когда он прочтет или расскажут ему содержание "Fleurs du mal", или — еще удивительнее — Верлену, — когда он узнает про ту жалкую, развратную жизнь, которую вел этот человек и прочтет его стихи."

Оскар Уайльд говорил, что Верлен является единственным христианским поэтом после Данте, но Толстой не считает, как мы видим, истинным христианским поэтом не только Верлена, но и самого Данте.

Некоторые читатели спросят, быть может: "Но как же относился Толстой к своим собственным художественным произведениям?"В своей книге "Что такое искусство?", написанной в 1897 году, он сам ответил на этот вопрос. Он заявил, что свои художественные произведения он приписывает к "области дурного искусства", за исключением рассказов "Бог правду видит" и "Кавказский пленник."

Вот почему Толстой искусство нашего времени называет блудницей, а всех художников, поэтов и музыкантов бездельниками и дармоедами.

"Искусство нашего времени и нашего круга стало блудницей. И это сравнение верно до малейших подробностей. Оно также неограничено временем, также всегда разукрашено, так же всегда продажно, так же заманчиво и губительно.

Настоящее произведение искусства может проявляться в душе художника только изредка, как плод предшествующей жизни, точно так же, как зачатие ребенка матерью. Поддельное же искусство производится мастерами, ремесленниками — безостановочно, только бы были потребители."

Почему же художники, поэты и музыканты являются бездельниками и дармоедами? Потому что их искусство не имеет никакого отношения к трудовому народу, и потому что этот трудовой народ должен содержать эту громадную армию. Все свои произведения они продают богачам, а богачи, как нам известно, безжалостно грабят трудовой народ и покупают их произведения.

"Скажите живописцу, чтобы он писал без студий, натуры, костюмов и рисовал бы пятикопеечные картинки, он скажет, что это значит отказаться от искусства, как он его понимает. Скажите музыканту, чтобы он играл на балалайке, гармонике, гитаре и учил бы баб петь песни. Скажите поэту, сочинителю, чтобы он бросил свои поэмы, и романы и сатиры, — и сочинял песенники, истории, сказки, понятные безграмотным людям; они скажут, что вы сумасшедший."

Поэтому он и приходит к заключению, что "рабочие люди зарекутся скорее никогда не видеть картину, не слыхать симфоний, не читать стихов или повестей, только бы не кормить всех этих дармоедов."

"Наука еще может ссылаться на свою глупую оговорку, что наука действует для науки, и что когда она разработается учеными, она станет доступною и народу; но искусство, — если оно искусство, — должно быть доступно всем, а в особенности тем, во имя которых оно делается."

Истинное искусство, по Толстому, должно быть "орудием перенесения религиозного христианского сознания из области разума и рассудка в область чувства, приближая этим людей на деле, в самой жизни, к тому совершенству и единению, которое им указывает религиозное сознание." (Все цитаты взяты из книги Толстого "Что такое искусство?")

В суждениях Толстого об искусстве имеется много правды, когда речь идет о всевозможных декадентских школах. Мы можем согласиться с Толстым и в том отношении, что современное искусство является достоянием правящих классов.

Мы не можем только согласиться с тем, что творчество Софокла, Эврипида, Эсхила, Данте, Рафаэля, Шекспира, Байрона, Бетховена, Вагнера, Ибсена, Беклина, Клингера и самого Толстого не является истинным

искусством. Правда, в творчестве этих великих людей нет духа подлинного христианства, но от этого оно не перестает быть подлинным искусством.

Впрочем, если рассматривать искусство даже с этой точки зрения, то это "языческое" искусство не может отвергать ни один христианин. Так, например, картина Клингера "Христос на Олимпе" является языческой картиной, но можно сказать, пожалуй, что Психея Клингера, встречающая Христа на Олимпе, является христианской Психеей.

Мы не можем согласиться и с тем, что художники должны рисовать пятикопеечные картинки для народа, музыканты — играть на балалайке, а поэты—сочинять песенники для баб. Если они начнут этим заниматься, то их творчество тоже не будет истинным искусством. Оно будет тем же ремеслом, против которого восстает Толстой. Он ведь и сам говорит, что "настоящее произведение искусства может проявляться в душе художника только изредка."

Нельзя согласиться и с тем, что искусство должно быть слугою христианского сознания. Нельзя отрицать духовной возвышенности и анархической социальной значимости истинного христианства, но искусство не должно служить и этой идее. Оно не должно служить никаким идеям. Мы знаем, например, во что превратилось искусство в России после революции. Большевики сделали искусство слугою политики, слугою марксистских идей и оно превратилось после этого в особое политическое ремесло. Подлинное же искусство умерло; оно не перенесло этого насилия. Искусство должно служить только идеям вечной красоты. Прав был поэтому Вагнер, когда говорил, что искусство не должно служить ни власти, ни государству, ни всевозможным идеям. Так же смотрел на искусство и Оскар Уайлъд.

Природа истинного искусства — природа ярко анархическая. Оно не должно никому подчиняться. Для него не должно быть никаких правителей. Цель его — это самосовершенствование; средства же к этой цели — служение красоте. Вот кому служит всегда истинное искусство. Если же искусство становится чьим нибудь рабом, то оно умирает от этого.

БУДУЩЕЕ

Что же говорит Толстой о будущем? Как может быть устроена жизнь человечества, когда оно избавится от всяких поработителей, когда не будет на земле ни правительств, ни государств, ни писанных законов?

Мы обыкновенно думаем, что если человек отрицает настоящее, то он должен показать нам и план того будущего, ради которого он отвергает наше настоящее. Так и поступают всегда разные "освободители" человечества. Они всегда предлагают нам самые точные планы их будущего. Все они хорошо знают, что эти планы осуществить невозможно, ибо живую жизнь нельзя вложить в какие то теоретические схемы, но раз люди верят в эти мертвые схемы, то эти "освободители" и преподносят им эти теоретические фикции под видом научных схем.

Толстой же говорит, что "будущее будет таким, каким сделают его обстятельства и люди."

Многие люди могут сказать поэтому: "Если у нас нет этих схем, то мы не можем разрушать старое." Толстой этим людям отвечает так:

"Если бы Колумб рассуждал так, он никогда не снялся бы с якоря. Сумасшествие ехать по океану не зная дороги, по океану, по которому никто не ездил, плыть в страну, существование которой — вопрос. Этим сумасшествием он открыл новый мир. Конечно, если бы народы переезжали из одного готового hotel garni в другой, еще лучший, — было бы легче, да беда в том, что некому заготовлять новых квартир."

"Если бы жизнь отдельного человека при переходе от одного возраста к другому была бы вполне известна ему, ему незачем бы было жить. То же и с жизнью человечества: если бы у него была программа той жизни, которая ожидает его при вступлении в новый возраст его, то это было бы самым верным признаком того, что оно не живет, не двигается, а топчется на месте. Условия

нового строя жизни не могут быть известны нам, потому что они должны быть выработаны нами же. Только в том и жизнь, чтобы познавать неизвестное и сообразовать с этим новым познанием свою деятельность. В том жизнь каждого отдельного человека, и в том жизнь человеческих обществ и человечества." ("Царство Божие внутри вас").

Можем ли мы согласиться с этим суждением? Прав ли Толстой, когда говорит, что мы должны думать не о том, как приступить к устройству нового общества, а как освободиться нам от нашего сегоднешнего рабства. Толстой в этом прав. Наше освобождение от современного экономического и политического рабства — это наша главная задача. Строительство же будущего общества — задача не настолько важная. Христос говорил: "Познайте истину и истина вас сделает свободными." Если же мы будем знать истину, то мы сумеем построить и новое общество.

Само собою разумеется, что каждый из нас должен знать, во имя чего, во имя какого идеала он отрицает современное несправедливое общественное устройство. Отрицание же ради отрицания является совершенно бессмысленным. Но когда Толстой отрицает современное общество, то он отрицает его ради Царства Божия. А идеал царства Божия есть идеал совершенного анархического общества.

Толстой не верил только в те "точные" и "научные" планы нового общественного устройства, которые составляют в своих кабинетах разные реальные политики.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ.

Как же может осуществиться это царство Божие на земле? Толстой не признает ни древне - иудейской, ни церковно - христианской апокалиптики. Он не верит ни в иудейских, ни в христианских, ни в социалистических Мессий - освободителей.

"Люди, — говорит Толстой, — не должны больше ожидать, что кто то придет и поможет им: Христос на облаках с трубным гласом, или исторический закон, или закон дифференциации и интеграции сил. Никто не поможет, коли сами себе не помогут." ("В чем моя вера?")

"И не придет царство Божие приметным образом и не скажут: вот, оно здесь или вот оно там. Ибо вот: царство Божие внутри вас есть." ("Лк. 17,-20)).

"Для того, чтобы изменился противный сознанию людей порядок жизни и заменился соответственным ему, нужно, чтобы отжившее общественное мнение заменилось живым новым." ("Христианство и патриотизм").

Из этого следует, что "если ты землевладелец, чтобы ты сейчас отдал свою землю бедным, если капиталист, — сейчас бы отдал свои деньги, фабрику рабочим, если царь, министр ,служащий, судья, генерал, то чтобы ты тотчас отказался от своего выгодного положения, если солдат . . . то, несмотря на все опасности отказа в повиновении, тотчас бы отказался от своего положения." ("Царство Божие внутри вас").

Толстой не признает насилия, но его учение о пассивном сопротивлении злу является революционным учением.

"Это учение, — говорит Толстой, — не следует понимать так, "что оно будто бы запрещает всякую боръбу со злом." "Запоповедь непротивления злу не означает также, что одна лишь часть людей обязана без борьбы покоряться тому, что известными авторитетами будет предписано им." Эта заповедь состоит в том, "чтобы никому, следовательно, и тем (и преимущественно тем), которые властвуют, не употреблять насилия ни против кого, ни в каком случае."

Дальше Толстой говорит, что правительству легче бороться с разными активными революционерами, признающими насилие, нежели с этими мирными людъми, отказывающимися от повиновения правительствам.

"Они могут перебить, переказнить, перезапереть по тюрьмам и каторгам на вечно всех своих врагов, желающих насилием свергнуть их; могут засыпать золотом половину людей, которые им нужны, и подкупить их; могут подчинить миллионы вооруженных людей, готовых погубить всех вра-

гов правительств. Но что они могут сделатъ против людей, которые, не желая ничего разрушать, ни угрожать, желают только для себя, для своей жизни, не делать ничего противного христианскому закону, и потому отказываются от исполнения самых общих и потому необходимых для правительства обязанностей.“ (“Царство Божие внутри вас“).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Ознакомившись с отношением Толстого к власти, праву и государству, скажем, что хотя Толстой и не называл себя анархистом, но его учение является анархическим. Толстой не только анархист, но и великий индивидуалист. Правда, его анархизм имеет мало общего с анархизмом Бакунина и Кропоткина. Его анархизм основан исключительно на нравственных и религиозных началах. Толстой заявляет, что он не проповедует ничего нового, а проповедует только истинное учение Христа. И мы должны согласиться с этим заявлением. Толстой не сказал людям почти ничего нового. Он толъко старался доказать им, что подлинное учение Христа является учением анархическим, и что этим учением нельзя оправдывать существования власти и государства.

Вот этот то Толстой и дорог тем людям, которые стремятся к высшей справедливости.

Е. З. Моравский.

Август, 1928.

Б. ВЫШЕСЛАВЦЕВ.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Гений каждой нации воплощает в себе и выявляет для всего мира душу своего народа, своей страны, своей природы, своей земли, своих небес. Толстой — это вся Россия, весь русский характер, вся русская судьба.

Правда, в индивидуальном, единственном преломлении, но в таком, которое, подобно алмазу, собирает все лучи спектра и излучает их во все стороны, во всем многообразии. Через Толстого, более чем через Пушкина, Гоголя, или даже Достоевского — весь мир научился понимать и слышать голос русской души, русской совести. Без Толстого и нам было бы трудно созерцать и пониматъ свою противоречивую, жадную к жизни, отрешенно-религиозную и мятежную душу. Можно ли без Толстого вспоминать, представлять и любить русское детство, русскую влюбленность, русский героизм, русское раскаяние, русскую стыдливость души, русское умение умирать и русскую стихийную любовь к земле? И не свою только жизнь мы понимаем и созерцаем через него; можно сказать, что **его** жизнъ, **его** образы — стали нашей жизнью: искусство снимает разделение между “моим“ и “твоим“; его “Детство и отрочество“ мы однажды приняли в свое сердце и навсегда оно слилось с нашим детством и отрочеством. И точно так же принимается к сердцу вся жизнь и вся судьба его героев. Он не ставит своих героев на расстояние, не делает их предметом иронии, анализа различных психологических экспериментов, он их творит, животворит, и сразу вводит в наше сердце и мы их любим, как самих себя, любим за это богатство реальности, за этот трепет жизни, любим за то, что наша жизнь в них и с ними расширяется и становится богаче.

В этом особенностъ Толстого — **в стихийном реализме,** рожденном любовью к бытию. В искусстве рассказа пожалуй нет равного Толстому — не в смысле красоты образов, языка, ума, а в смысле стихийной способности порождать осязаемую реальность, ее любить и делать любимой. Вот почему, если мы любим Россию и хотим быть в России, если мы хотим вспомнить Россию и познать ее — мы должны читатъ Толстого: мы услышим запах деревень, крестьянскую речь, почувствуем дыхание русской земли, вместе с охотничьей

собакой почуем испарения родных болот. Пусть нам не говорят, что она уже не существует — Россия Толстого. Если бы это было так, советская Россия не предпочитала бы Толстого всем своим коммунистическим бытописателям, как об этом свидетельствуют все советские библиотеки. Толстой гораздо более живуч, чем коммунизм, ибо он есть русская душа, русская земля, русская стихия. Большевизм есть навоз, который перерабатывается русской землей, перегорает в ней, а Толстой — это все-побеждающая сила русской жизненной стихии, сила русской земли, Илья Муромец русской литературы.

В наше время господствует убеждение, и особенно среди русских, что другая, — учительская, "пророческая" сторона в творчестве Толстого есть период падения, есть ошибка, отступление от истинного художественного призвания. Тургенев в своем знаменитом последнем письме к Толстому умолял его "вернуться к литературе." В этом мнении есть много верного, ибо в искусстве своем Толстой действительно неуязвим ,а в пророчествах своих весьма уязвим: нет ничего легче, как разбивать толстовство, разбивать те **решения,** при помощи которых Толстой хотел выйти из трагизма современной социальной и религиозной проблемы; но разбить решение — не значит уничтожить задачу; например, разбить коммунизм — не значит уничтожить социальный вопрос. Сила Толстого — в **постановке проблем**, которые предстоит в ближайшем и в дальнейшем будущем решать человечеству и в частности России. Он верно их предвидел, предсказал и поставил, а главное — он поставил их так, что от них нельзя отвернуться, нельзя пройти мимо. Он поставил их, как трагические проблемы совести современного человека с тою силой проникновения, которая дает власть "глаголом жечь сердца людей",

У нас в России принято было венчать Толстого лаврами ,как художника, и побивать камнями, как пророка. Но гений и лжепророчество "две вещи не совместные". Не настало для нас русских время реабилитации Толстого?

Каждый студент юридического факультета умел опровергать "непротивление злу насилием" и во всех курсах государственного права фигурировал для оправдания государства соловьевский "злодей, насилующий ребенка." Неужели Толстой не понимал, что хорошо и похвально спасти ребенка от злодея при помощи государства? Но он предвидел, что государство займется не только этим, не только борьбою с индивидуальными преступлениями ,а вступит неизбежно на противоположный путь, на путь совершения **социальных преступлений.** Мысль Толстого состоит вот в чем: самое страшное зло ,имевшее место в истории и зло, которому предстоит в будущем возрастать, заключается не в отдельных злодеях, не в уголовных преступниках, нарушающих закон, могущих раскаяться и почти всегда сознающих себя преступниками; нет, гораздо страшнее зло, совершаемое в форме социально организованной, совершаемое "именем закона" (au nom de la loi) зло совершенно безнаказанное, более того, считающее себя оправданным, воображающее себя добром. Самые страшные преступления, совершенные на земле, были совершены не уголовными преступниками: Сократ был отравлен не злодеем и Христос был распят не разбойниками; эти деяния были совершены именем закона ("мы имеем закон и по закону нашему он должен умереть"). Государство не могло их защитить, как этого требовало бы "оправдание государства", просто потому, что это оно их убило. Социальное преступление может принимать различные формы — формы войны, формы монархической и революционной тирании (опричнина и конвент), но сущность его остается той же: оно совершается властью, оно облекается в форму закона ,оно оправдывает себя тем, что **борется со злом насилием**.

Поставить такую трагическую проблему перед мировой войной, перед русской революцией, перед коммунистической опри-

чиной и инквизицией — значит воистину обладать пророческим даром. Коммунистическое государство с невероятной силой выявило ту антихристианскую природу этатизма, ту природу "холодного чудовища", которое поразило Толстого и преступление которого он предвидел.

Великий художник, наделенный пророческим даром, не решает, а ставит трагические проблемы, те, которые предстоит решать грядущим поколениям. Но люди толпы не любят ничего нерешенного и прежде всего хватаются за решение. Так было и с толстовцами. Толстой оказался им не по плечу и они урезали и упростили его могучую трагически-противоречивую индивидуальность.

Идею анархизма и идею непротивления можно понять чрезвычайно наивно и тогда они теряют свой вечный смысл. Толстой сам часто дает наивное рационалистическое **решение** тех проблем, глубину и трагизм которых он умеет с такою силою пережить и дать почувствовать другим. Великая проблема анархизма ,проблема **безвластной организации** вообще скомпрометирована наивными, детскими, упрощенными суждениями анархистов, совершенно так же, как идея непротивления скомпрометирована сектантским рационализмом толстовцев ,считавших, что нельзя наказывать детей, нельзя истреблять мышей и клопов. Пругавин в своих статьях о сектанстве прекрасно изобразил всю эту наивную мелочность и узость кругозора, все это сектантское законничество. Противоречие Толстого состоит в том ,что он **законнически** решил **преодоление законничества.** Толстой мыслит пуритански ,протестански, в ветхозаветных категориях закона; а чувствует и живет проблемами восточного христианства, чувствуя сферу любви, сферу сверх-индивидуальной **соборности**, построенной вовсе не на законе, ни на каких либо нормах, а на конкретном **общении любви,** на гармоническом единстве свободных индивидуальностей друг друга восполняющих, друг с другом "симфонически" соединенных.

Толстой все время чувствовал и хотел показать, что существует сфера живого общения любви, которая лежит выше всякого права и государства, выше всяких норм и законов. И эта сфера есть самое ценное в жизни, то, ради чего стоит жить, — сфера дружбы, любви, свободной гармонии, то что религиозно называется "царством Божиим". Если человечество не поднимется на ступень этого высшего **общения любви,** то оно никогда не разрешит никаких проблем социальной жизни, никогда не преодолеет зла, разделения, несправедливости, неравенства. В этом Толстой несомненно прав: такая сфера существует и она возвышается над низшими и подчиненными ступенями культуры — над хозяйством, правом и государством. Все проблемы действительно решаются только исходя из этой высшей ступени царствия Божия ("ищите царствия Божия и все прочее приложится вам"). Но Толстой неправ только вот в чем: нельзя **перепрыгнуть** через низшую ступень техники, хозяйства, права и государства .Разрушением низших ступеней не достигается восхождение на высшие. Разрушение права и государства вовсе не обеспечивает само по себе поднятие на высшую ступень любви и свободной гармонии; наоборот ,оно может погрузить нас еще ниже в царство животной борьбы и ненависти, в царство, которое лежит не выше, а **ниже справедливости.**

Идея **рыцарской борьбы** со злом во имя права и справедливости есть благородная идея и высокая ступень человеческого духа. Верно то, что существует еще более высокая ступень кротости, любви, прощения и непротивления, как это показал Христос. Но огромное большинство людей стоят бесконечно ниже не только второй, но и первой ступени; они не только не доросли до христианской идеи любви и прощения, но далеко не доросли и до рыцарской идеи чести и борьбы за правду. Дать таким людям норму непротивления, норму отрицания права — значит дать им иллюзию оправдания трусости, дряблости и бесчестия.

Существует одна индийская легенда. К

отшельнику пришли два воина посоветоваться перед выступлением в поход. Один признался в том, что он боится, и что ему трудно и страшно идти в сражение; другой утверждал, что он идет с радостью и страха не испытывает. И вот только второму отшельник сказал, что ему не надо идти на войну и не позволено сражаться; первому же — надо идти и необходимо сражаться. И это конечно потому, что первый стоял ниже воинской чести и доблести и потому предательски использовал бы норму высшей кротости ради эгоистической трусости.

Сам Толстой был храбрым человеком. Знал, что такое честь, мужество и воинский долг ,и потому имел право принять второй совет отшельника, совет непротивления.

В христианстве существует идея непротивления ,но не существует **нормы непротивления.** Иногда нужно подставлять щеку, а иногда не нужно и вредно. Разве Христос желал, чтобы за каждым ударом в правую щеку следовал удар в левую? Особенно диким искажением христианского учения явилась бы норма подставления **чужой** щеки. Здесь идея непротивления теряет всякий смысл, ибо она есть идея внутреннего преодоления особой борьбы со злом, борьбы посредством озлобления и совершения противоположного зла. "Не противься злу злом" — это есть идея борьбы со злом посредством любви ,исходя из любви ,но все же идея **борьбы.** Проблема "подставления щеки" мучила Достоевского не менее чем Толстого и мы находим в его произведениях два примера абсолютного исполнения евангельских слов: пощечина ,снесенная князем Мышкиным и Ставрогиным. Но в одном случае это чисто христианский поступок, а в другом — ничего не имеющий общего с христианскими чувствами.

Замечательно то, что оба величайших русских писателя, Толстой и Достоевский, поставили одни и те же проблемы: проблему принятия социального преступления и проблему непротивления. Только Достоевский был гораздо более осторожен в их решении ,а потому надолго остался непонятым. Толстой же дал наивные и простые решения, подхваченные сектантским рационализмом. Наивность этих решений не должна однако закрывать для нас глубину и вечность трагических проблем.

Б. Вышеславцев.

Париж.

ПРОФ. Ф. С. ОНДЕРДОНК.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ЕГО УЧЕНИЕ

Лев Толстой всемирно признан великим художником, но сравнительно мало людей в Америке сознают его значение, как религиозного мыслителя. Чтобы оценитъ значение Толстого в этой области, необходимо понять мировоззрение интеллигенции всех непротестантских христианских стран. Образованные люди этих стран большей частью — агностики или атеисты, и столь нашумевший, так называемый "обезьяний процесс" в Теннесси им совершенно непонятен, так как религия рассматривается ими как нечто мертвое, — как предрассудок, который может быть подходящим для крестьян, но не заслуживающий внимания образованного человека.

Американские журналы недавно сообщали о том, что в здешних высших учебных заведениях имеются атеисты. В католических или православных странах это явление не было бы новым; гораздо скорее обратил бы там на себя всеобщее внимание профессор, преподающий библию или посещающий церковь.

Жалобы на уменьшение числа лиц, посещающих церковь, указывают на то, что Америка попала под влияние Европы в отношении религии, и Толстого следовало бы больше ценить здесь ,ибо его можно назвать апостолом агностиков. Его учение представляет собою религию, которая может быть воспринята теми, кто полагается лишь на свой разум, относясь с недоверием к традициям.

"Исповедь" Толстого описывает, как он и его братья, будучи мальчиками, усвоили атеистические взгляды, распространенные в средних и высших кругах (как и среди рабочих) Европы. Толстой и раньше часто испытывал потребность веры в Бога, но религиозные вопросы стали доминирующими в его жизни лишь по достижении пятидесяти лет. Самый важный из всех вопросов: "Что такое жизнъ?" привел Толстого в отчаяние своею неразрешимостью, и ему казалось, что единственным спасением от этого жгучего вопроса является самоубийство. Наука не могла дать ему ответа, и вся сущность мудрости философии казалась выраженной в словах: —"Все суета." Наконец, он пришел к заключению, что жизнь, посвященная достижению личного, эгоистического счастья, должна в конце концов оказаться негодной в силу следующих четырех условий: борьба с миллионами других людей, добивающихся тех же благ; постоянно возрастающее желание, и отсюда пресыщение; болезнъ и, наконец, неизбежная для всех смерть.

Подобно Будде, Толстой был одним из немногих, имевших все, чего добивается смертный. Он унаследовал богатства ,имения и имя, сделавшее его одним из высших аристократов России. Его литературный талант еще увеличил его славу и богатство, и в пятьдесят лет он по опыту мог сказать: "Все суета." Его старания найти смысл в жизни, которого неизбежная смерть не разрешила бы, рельефно выступающие в его "Исповеди", делают ясным, почему его труды нашли отклик у такого большого числа искателей правды. Он был поражен при виде миллионов людей, живущих вокруг него, не подозревая даже существования этого великого вопроса: "стоит ли жить?" Другие, как и он пришедшие к отрицательному ответу на этот вопрос, пытались извлечь от жизни наибольшее количество удовольствий и забытъ о неизбежном. Тысячи кончали самоубийством, чтобы покончить с этой, как им казалось, бессмысленной, жестокой игрой, и четвертая категория, к которой относился и Толстой, не имели мужества совершить этот последний шаг, но в то же время не могли забытъ о бессмысленности существования. "... Мыльный пузырь, который разрастается и поблестит минуту с тем, чтобы сейчас же лопнуть и исчезнуть навсегда."

Под влиянием странствующих монахов

и крестьян, с которыми он часто говорил, Толстой стал читать Евангелие и постепенно приобрел веру в Бога.

Толстой сделался строгим последователем православной церкви, постился и посещал богослужения, но скоро он открыл, что Нагорная проповедь, запрещающая присягу, месть и войны, шла вразрез с церковью, одобряющей смертную казнь, изувечение солдат, и идущей рука об руку с царем и противо - христианскими социальными устоями.

Толстой не мог не начать работать в пользу реформ, как это сделали Лютер, Жорж Факс и многие другие до него. Он перевел все четыре Евангелия, и в своей работе, состоящей из двух томов, аттаковал православную теологию. Он был отлучен от церкви. После своего обращения он посвятил остальные тридцать лет своей жизни обучению всего мира путем своих статей и романов правильному пониманию учения Христа. В своем "Царство Божие внутри вас" он дает подробное толкование теории непротивления злу. Не сопротивляться злу насилием, а противостоять ему добром —вот главный принцип учения Толстого; принцип ничего нового собою не представляющий — просто учение Христа. Когда представители квакеров приехали в Россию и истолковали там свои религиозные убеждения, некоторые русские воскликнули: "Да вы как раз как наши толстовцы!"

Учение Толстого основано на тех же принципах, что и "Общество Друзей", Духоборы, Менониты, Назаряне и тому подобные секты: — на принципах Нагорной проповеди, согласно которой христианину запрещено принимать участие в войне, злословить и присягать. Вдобавок к этому, Толстой проповедует некоторые реформы: вегетерианство, воздержание от курения табака, половое воздержание, эсперанто и теорию Генри Джорджа о едином налоге.

Толстой был сильно удручен тем, что его жена и большинство его детей не восприняли его философии. Многие смеялись над тем, что сам он не следовал тому, что проповедывал, несмотря на то, что он много работал в поле, помогал крестьянам и вел простой образ жизни. Не желая покинуть жену, он вынужден был разделять до некоторой стпени ее аристократическую жизнь.

В 1910 году обостренные отношения с женой вынудили Толстого бежать, как сделал это Будда много веков назад, тайно, среди ночи. В поезде он заболел воспалением легких, и был взят в комнату начальника станции в Астапово, где он умер в ноябре 1910 года.

Во время всемирной войны сотни русских и болгарских толстовцев отказались от воинской повинности и были казнены или заключены в тюрьмы*).

В России толстовцы организовали вегетерианское Общество, лидером которого является В. Чертков, преданный друг Толстого. Советское правительство поручило ему юбилейное издание произведений Толстого, которое явится первым полным изданием трудов великого писателя.

Единственная (помимо России) страна, в которой толстовцы очень многочисленны, это Болгария. Там существуют две организации, и издается несколько толстовских журналов. В течение нескольких лет эсперантский ежемесячник "Либеро", посвященный толстовскому движению, издавался в Софии. Толстовцы содействовали основанию 22 вегетерианских ресторанов, распространенных по всей Болгарии.

На М. Ганди очень сильно повлияли труды Толстого о несопротивлении злу, и он рекомендовал их своим последователям; и можно сказать, что бескровная революция пассивного сопротивления, происходящая в Индии, отчасти является результатом учения Толстого.

В Западной Европе последователи Тол-

---

*)Письма этих героев были изданы под заглавием "Современные Мученики". Их можно достать в "War Resisters' International", 11 Doughty st., London W. C. 1. Англия.

стого, хотъ и не очень многочисленные, про являют глубокую преданность его идеям, и помогают ускоритъ приближение новой эры.

Роберт Бакчи, описанный в "Ассоши - эйтед Пресс" (телеграмма 28 июля 1928) как "новый спаситель человечества", посещал, будучи ребенком, школу Толстого, и однажды чуть было не погиб в метели. С тех пор он посвятил свою жизнь служению человечеству: в Будапеште, Венгрия, он спас многих от самоубийства, и израсходовал 5.000.000 своих собственных денег на одежду и прокормление нуждающихся. Теперь его можно видеть в простой белой толстовской блузе, с Евангелием в руке, цитирующим слова учения или раздающим бедным молоко.

В Вене, Австрия, Толстовский Союз распространяет книги Толстого и устраивает митинги, посвященные его учению. В Праге, Чехословакия, последний секретарь Толстого, Валентин Булгаков отдает свою литературную деятельность распространению идей Толстого, в сотрудничестве с П. Питтер, лидером Противников Войны.

При жизни Толстого его последователи в Манчестере, Англия, хотели организовать Общество Толстого, но сам Толстой этой идеи не одобрил. В Англии, как и в некоторых других странах, толстовцы организовали колонии. Некоторые из этих колоний распались: идеалы Толстого так высоки, что мы можем лишь приблизиться к достижению их постепенно, но нам не постигнутъ их в совершенстве.

Ц. В. Даниэльс является примером того, как велико бывает влияние книг Толстого на людей: он основал книгоиздательство с целью содействия распространению произведений Толстого. Дж. Б. Шоу, вместе с другими известными английскими и американскими авторами, основал общество Толстого, которое работает над юбилейным изданием работ Толстого, переведенных Айльмер Модом. Это общество также устраивает лекции о Толстом.

В Америке Эрнэст Кросби был одним из самых известных приверженцев Толстого. Вторым является один профессор Гарвардского университета, который, согласно Роберту М. Ловету, устраивал еженедельные собрания студентов для толкования учения Толстого. И один студент того же университета, Чарлз Гарланд, обладатель "Золотого Побережья", поразил Америку в 1920 году своим заявлением, что, следуя учению Толстого, он отказывается от миллиона долларов, которые он унаследовал при совершеннолетии: не заработав этих денег, он не хотел пользоваться ими в то время, как другие нуждаются. Позже он пожертвовал эту сумму на основание одного филантропического общества. В данное время он работает в кооперативной колонии в Пенсильвании.

Произведения Толстого, его могучие, вдохновляющие воззвания и романы, не оказали того влияния, какого от них можно было бы ожидать. Наш материалистический век оказался неподходящим для распространения религиозных идей Толстого.

Его книга "Круг Чтения" была переведена на английский язык, и появилась в Нъю Иорке в виде ежемесячника, но лишь первые четыре номера были напечатаны. Несколько лет спустя другое книгоиздательство перевело эту книгу, но издало всего первую половину. Это произведение составлено из благороднейших мыслей великих мыслителей всех веков, собранных Толстым и дополненных им. Немцы, болгары и русские, которым эта книга доступна, рассматривают ее как Евангелие человечества, но публика, владеющая лишь английским языком, еще лишена возможности ее читать.

Заглавие драмы Толстого: "Свет во тьме светит" выражает идею, руководящую толстовцами по всему миру: Толстой — это великий свет, который сияет в наше время тьмы — ядовитых газов, субмарин и гипокритства; свет, который нельзя погасить, но который будет разгораться все сильнее и сильнее до тех пор, пока не победит рассвет.

Профессор **Ф. С. Ондердонк.**

Анн Арбор, Мич.

АЛ. ФОВИЦКИЙ

ТОЛСТОЙ, КАК ХУДОЖНИК

Я перед мощию стихийной
В священном трепете стою.
А. Фет

Приведенные выше слова знаменитого поэта, друга Толстого, как нельзя лучше передают главное впечатление от Толстого —художника — "Стихийная мощь".

Только эта мощь могла породить тот тропический роскошный лес ,с которым сравнивает художественное творчество Толстого один из его ранних критиков.

Тут вековое, яркое, сочное, пестрое — сплетено лианами в одну поражаю - щую силу. И здесь, наряду с человеко - образной обезьяной (какой нибудь Позднышев из "Крейц. Сонаты" до раскаяния) вы встретите птичку — Калибри (вспомним образ "сияющей радостным взгля - дом" Наташи Ростовой в "В. и Мире") — и сотни самых разнообразных, каждый обрисован детально, дан в его индивидуаль - ности, представителей "животного мира". Но только это не животные, хотя и о них много знает и часто рассказывает Толстой, а люди, сложные в своей природе.

Великий писатель, бесстрашно прони - кая в нее, вскрывая и разоблачая ,обнаружит все в ней, но, почти всегда, укажет и на "человеческое" в человеке.

Вот какой нибудь офицер Долохов в "Войне и Мире". Заносчивый, высокомер - ный, карьерист — он вдруг выявится перед нами с какой то затаенно - задушевной стороны и будет таким трогательным и нежным по отношению к своей матери и сестре - горбунье!

В том же романе есть развратный щеголь - красавец, офицер Анатоль Куракин. Одно его хищное приближение к нашей любимице Наташе Ростовой — возбуждает негодование. Читатель, кстати, видит, как и в честное, горячее сердце Наташи вкра - дывается власть вожделений. Но вот Анатоль тяжко ранен. Смерть близится. Му - ки окровавленного человека ужасны. Вы "сопереживаете" с ним, сострадаете ему . . прощаете его. И безшабашно - эгоисти - ческое существование Анатоля вдруг меркнет перед лучами нового тепла ,исходя - щими от автора. Анатоль не ушел, не спря тался от общего несчастья, он разделил его со многими другими рабами человеческой трагедии ,войны, — и своей болью, ужасом страданий что то искупил и размягчил другие души (кн. Андрея) — и внес и в сердце читателя примяряющие ноты .

Хоть в такой мере, но Толстой всегда рад бросить на человека просветленную тень. Но часто Толстой бывает суров и иногда беспощаден. Это тогда, когда ему нужно показать во всей отталкивающей силе (Толстой художник - моралист) — "всю подлость, всю фразу, все безумие"

Сколько тогда презрения к "властелину — разбойнику" Наполеону, который "ни - когда, до конца дней своих не мог пони - мать ни добра, ни красоты, ни истины".

"Маленькая белая рука с орденом дотронулась до пуговицы солдата Лазарева. Как будто Наполеон знал, что для того, чтобы навсегда этот солдат был счастлив... нужно было только, чтобы его, Наполеонова, рука удостоила дотронуться до груди солдата."

В изображении Льва Толстого — Наполеон человек ничтожный, честолюбивое холеное тело, лживое, всегда актерствующее, безмерно эгоистичное.

"Все, что было вне его, не имело для него значения."

Так как черты новой силы и новой литературной правды сказались уже в са - мых первых произведениях Толстого, то совсем не странно, что знаменитый поэт Некрасов, редактор журнала 'Современник', а за ним Иван Сергеевич Тургенев — его друг, прочтя "Детство" (это было оно) — сразу почувствовали, что в русской лите - ратуре случилось что то совершенно необычное. Автор "Рудина", по "Записк. Охот -

ника“ которого Толстой отчасти учился (“трудно писать после него“, говорил Толстой о Тургеневе) — сразу почувствовал то, что значительно позже, незадолго перед своей смертью ,он выразил о Толстом в словах: “великий писатель земли русской“.

Уже теперь, после “Детства“, Тургенев восторженно писал Некрасову ,стараясь узнать, где живет этот человек ,кто он?

“Скажи ему, что я его привествую, рукоплещу ему. Понукай его писать.“ И несколько позже, когда имя молодого автора стало известным (сначала Толстой скрывался под буквами Л. Н., не верил в себя) — “Дай только Бог ему пожить, и он удивит всех нас!“

Очень характерно впечатление известного романиста Писемского: “Этот офицеришка (Толстой) всех нас заклюет! Хоть перо бросай!“

Все эти предчувствия и предсказания оказались, как мы знаем теперь, верны, но, чтобы напомнить о высшем восторге, вызванном Толстым - художником, приведем строки из письма критика и философа Н. Страхова к Толстому:

“Последняя часть “Анны Карениной“ произвела особенно сильное впечатление, настоящий взрыв. Достоевский машет руками и называет вас Богом искусства.“

Нельзя во всей полноте “измерить океан глубокий“ и “сочесть пески“, а потому в дальнейшем мы постараемся уяснить себе лишь главные черты Толстого, как художника.

Первая из них, уже ярко обнаруживающаяся в “Детстве“, — необычайная способность “проникать“ в чужую душу, способность тончайшего анализа душевной жизни. Причем для Толстого не потемки, не только внутренний мир человека, но и лошади (рассказ “Холстомер“, “Фру-фру“ в “Анне Карениной“!), даже собаки (“Псовая охота“ в “Войне и мире“) и чуть ли ни комара (“Казаки“).

Ведь у человека с зверем есть много общего ,и тот, кто хорошо и до тонкости знает свою природу, ясно читает не только в чужой “человеческой“, но и в звериной.

Познание чужого “я“ и своего собственного идут рука об руку, говорит нам психология творчества.

Художник может “перевоплощаться“ в другие личности, как бы становиться ими, на основании собственного опыта, постоянного самоанализа, упражнения в нем.

Дальше мы увидим, каков этот опыт был у Толстого, а пока несколько примеров. Вот кн. Мария Болконская. Светлый образ, согретый всепрощающею любовью к людям. Она знает “счастье прощать“, все сложные законы человечества сосредоточивались для нее в одном простом и ясном законе — любви и самоотвержении. И что же? Лев Толстой, для которого правда дороже всего, для которого искусство — служение раскрытию правды, показал нам на остаточки “звериного“ даже здесь. Мария Болконская не могла изжить в себе скрытого, безсознательного, может быть, злого чувства к прежней своей “сопернице“ Соне.

В своих бесстрашных разоблачениях человека, влекущего за собой грехи поколений, живших ложной ,по Толстому, искусственной, изуродованной жизнью, человека, продолжающего расти и действовать в атмосфере фальши вместо того, чтобы перестроить жизнь на началах “единого - важного“ — Толстой бывает почти страшен. Вот почему, может быть, мягкий, более “эстетически настроенный“ Тургенев говорил, что ему бывает иногда “душно“ с Толстым .

Но последний, устами своего героя Пьера Безухого ,сказал нам (ибо в Пьере — много от Толстого, как и в других его героях):

“Он испытывал несчастную способность многих, особено русских людей —видеть и верить в возможность добра и правды и слишком ясно видеть зло и ложь жизни.“

И он не боится указать на то, что очень, очень часто в супружеской жизни, напр., “любовь“ чередуется с “тихой ненавистью.“

Толстой, как известно, очень сурово относился к творчеству Шекспира. Он не захотел считаться с теми приемами изображения жизни, главным образом "душевной" жизни, которые применял автор "Отелло". Они казались Толстому неестественными, фальшивыми, а потому и не передающих нужных ценностей. Здесь наш великий писатель как бы не захотел видеть, что в своем художестве он шел с Шекспиром в одном направлении, но лишь разными тропинками. Художественный гений обоих творил, по существу, одно: он, прежде всего ,вскрывал **природу** человека в ее целом. Толстой выполнял эту задачу различными способами: то он просто рассказывал за героя все его мельчайшие переживания ,то заставлял его вести беседу с самим собой ("внутренние монологи") — что явилось в размерах Толстым применяемых, новостью в романе.

Вот, сам того не ведая, быстро умирает офицер Праскухин ,и Толстой рисует нам этот процесс.

"Слава Богу! Я только контужен. Верно, я в кровь разбился, как упал, подумал он. Потом какие то красные огни запрыгали у него в глазах и ему казалосъ, что солдаты кладут на него камни. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни ,вытянулся и еще больше не видел ,не слышал, не думал и не чувствовал."

Вот кн. Андрей Болконский, раненый при Аустерлице, раскрывает целый процесс "преображения" человека под влиянием случившегося.

"Над ним не было ничего уже, кроме неба — высокого неба, неясного, но все таки неизмеримо высокого, с тихо ползущими по нем облаками. Как тихо ,спокойно и торжественно, совсем не так, когда я бежал, подумал князь Андрей — не так как мы бежали, кричали и дрались... совсем не так ползут облака по этому высокому, безконечному небу. Как же я не видал прежде этого высокого неба? И как я счастлив, что узнал его наконец. Да, все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба .Ничего, ничего нет, кроме него. Но и того даже нет, ничего нет, кроме тишины, успокоения. И славу Богу!"

Иногда, как в "Крейцеровой Сонате", весь рассказ состоит в "излиянии души". Толстой часто "вонзается" в чужой душевный мир (вернее — творит душевный мир самых различных лиц; в одном "В. и М." их около ста — и каждое "на свой образец", во всех мелочах!) ,подметив какой либо внешний, чисто телесный признак. Он судит по улыбке, походке ,движениям рук.

Эта способность доведена у него до того, что один критик 50-х годов как то сказал Толстому:

"Вы, кажется, скоро напишите,—: ляжки этого господина показывают, что он собирается ехать в Индию."

Толстой любит показывать эту роль "телесного" в нашей жизни, любит указыватъ, как оно дает себя знать, выявляет, наперекор словам.

Марианка в "Казаках" говорит одно, а телесным существом своим подчеркивает другое:

— Отстань! Смола... обрывает она Оленина, а между тем, все ее внешнее, "ее высокая грудь" — говорит совсем иное", пишет Толстой. То же с Катюшей в "Воскресеньи".

За способность прозревать душевный мир человека через "телесную" его видимость — Мережковский назвал Толстого "тайновидцем плоти". Белая, маленькая, пухлая рука Наполеона, выхоленное тело императора — как бы говорят о "праздности" этого героя выскочки, одного из "сидящих на плечах рабочего народа"; белые, пухлые руки государственного человека 'из семинаристов", Сперанского, с которыми Толстой пристает к читателю — словно вскрывают всю "ненужность" работы его, которая меркнет перед "настоящей" жизнью и работой в деревне князя Андрея.

Мережковский показывает, как много говорят "энергичные маленъкие руки" Анны Карениной с кистью "тонкой, крошечной" и об'ясняет, что может быть потому, что они та животно - безсознательная ча-

сть человеческог тела, которая всегда обнажена, доступна наблюдениям в своей стихийной природе.

Иногда у Толстого маленькая телесная подробность, какое нибудь движение пальцев — вскрывает даже больше, чем душевный мир одного человека. Так, после Бородинского сражения, в палатке для раненых, доктор в окровавленном фартуке, с окровавленными руками "держит одной из них сигару между мизинцем и большим пальцем, чтобы не запачкать ее." Это положение пальцев, говорит Мережковский, обозначает: и непрерывность ужасной работы, и отсутствие брезгливости и равнодушие к ранам и крови, вследствие долгой привычки, и усталость и желание забыться. Посредством внешних движений Толстой изображает, — говорит тот же автор, — даже такую неуловимую вещь, как лад музыки, песни:

"Барабанщик - запевало строго оглянул солдат - песеников и зажмурился. Потом, убедившись, что все глаза устремлены на него, он как будто осторожно приподнял обеими руками какую то невидимую, драгоценную вещь над головой, подержал ее и так несколько секунд и вдруг отчаянно бросил ее: "Ах, вы, сени мои, сени! Сени новые мои!" — подхватили двадцать голосов.

Вызывая в читателе, как это было указано относительно Антона Курагина, сочувствие, сострадание к чьим либо переживаниям, Толстой вводит нас через картину этих физических страданий в душевный мир страдающего.

В рассказе "Смерть Ивана Ильича"— Иван Ильич, больной, умирающий три дня кричит от боли "У! У! У!". Раньше он кричал "Не хочу", но от этого первоначального крика осталось только бессмысленное "У". Читая эти строки, мы в состоянии понять "обессмысливание" тяжкой болезнью недавно вполне сознательного человека.

И у Толстого безконечное количество средств проникать через внешнее, даже запахи, ,в особенности того или другого человека — "Добрая хозяйка Анисья Федоровна, женщина с очень приятной улыбкой, угощает гостей кушаньями собственного приготовления, и "все это пахло ,и отзывалось, и имело вкус Анисьи Федоровны".

Толстой словно обладал не только обычными для человека видами ощущений, но еще чем то большим и утонченным. Как бы теми органами, которые есть у насекомых, у тех комаров, "душу" которых он "понимает" в "Казаках", словно у той кабанихи, ,,разговор" которой ,,ясен" дяде Ерошке, этому лесному человеку из тех же "Казаков".

—Как же это свинья поросятам сказала, что человек сидит? — спросил Оленин.

— А ты как думал? Ты думал он дурак зверь то? Нет, он умней человека, даром, что свинья называется .Он все знает.

И Толстой ,так же, как Ерошка ,прекрасно понимает, что "фыркает" дикая свинья: "беда ,моя, детки, человек сидит."

Другой известный критик Толстого, его друг, философ Н. Страхов, тоже указывает на способность писателя одной внешней чертой вводить в душу героя: лучистый взгляд княжны Болконской рассказывает о живой ее религиозной настроенности. Важному князю Василю пришлось, однажды, в необыкновенных и трудных обстоятельствах пройтисъ на цыпочках (Толстой в совершенстве знает, как ходит каждое из его лиц). "Князь Василий не умел ходить на цыпочках и неловко подпрыгивал всем телом."

Это "неуменье ходить на цыпочках" вскрывает привычку властного князя ни с кем не считаться, "ходить господином".

Примеров "проникновений" Толстого в мир душевной жизни отдельного лица — множество ,но необходимо рассмотреть, как он улавливает и изображает черты сословной и классовой психологии, психологии масс и наций. Предварительно, однако, еще о "душе" животных у Толстого.

Любопытный факт, показывающий, что здесь Толстому очень часто нет равных. Вот этот эпизод..

Тургенев расказывал о Толстом: "Однажды мы виделись с ним летом в деревне и гуляли вечером по выгону недалеко от усадьбы. Смотрим стоит на выгоне старая лошадь самого жалкого и измученного вида, ноги погнулись, кости выступили от худобы, старость и работа во всем как бы пригнулись, она даже травы не щипала, а только стояла и отмахивалась хвостом от мух, которые ей досаждали. Подошли мы к ней, к этому несчастному мерину, и вот Толстой стал его гладить и, между прочим, приговариватъ, что тот, по его мнению, должен был чувствовать и думать. Я положительно заслушался. Он не только вошел сам, но и меня ввел в положение этого несчастного существа. Я не выдержал и сказал: "Послушайте, Лев Николаевич, право, вы когда нибудь были лошадью."

Впоследствии Толстой и написал своего "Холстомера", эту "историю лошади", о которой Георг Брандес в 1911 году сказал: "Я понимаю Достоевского ,сумевшего проникнуть в самые глубины человеческой души .Но понять "душу" животного, проанализировать безсловесного, этот талант дан только избранным."

***

Отдельная личность является у Толстого во всех ее индивидуальных чертах и особенностях. Это не ходячие "страсти" или "добродетели", каковыми бывали "романтические" герои. Даже у Наполеона, в день Бородинского сражения, "личное человеческое чувство на короткое мгновение взяло верх над тем искусственным призраком жизни, которому он служил так долго."

Толстой рассматривает эту личность в микроскоп своей гениальной "остроты зрения", рассматривает, как было указано одним исследователем ,по частицам, разбивает речь человека и сопровождающие ее движения на дробные мелочи, и показывает нам резулътаты наблюдений. В "Детстве", напр., за столом ведется разговор о юродивом Грише. Отец Николеньки говорит с некоторым возбуждением и скрытой раздраженностью. Чтобы лучше "вскрыть" эту закулисную сторону его речи, Толстой показывает, как, в ответ на просьбу жены дать пирожок, отец Николеньки, весь поглощенный желанием "высказаться", — то приближает пирожок к руке жены, то, словно боясь, что ее движение "взятъ " отвлечет ее внимание от рассказа, — опять отодвигает пирожок и т. д.

Эта детальная наблюдательностъ Толстого — теперь, после ряда его учеников (Куприн, Бунин и др.) уже не так поражает нас, как поражала она раньше, но и сейчас кажется удивительной, ибо совершенна. Толстой ,например, обязательно заметит, как сморщилась красная лента у министра на белом жилете, когда он пожал плечами, какой след остался на тропинке от босой, после дождя, ноги. В рассказе "Метель", благодаря этой детальности, он, вспоминая лето, заставит читателя почувствовать (несмотря на окружающую рассказчика вьюгу, тоже чувствуемую до снежинки), как хорошо бы пойти выкупаться!

"Я закрываю лицо платком: становится душно, и мухи как будто липнут к рукам, на которых выступает испарина."

Эта же "мелочностъ", когда вы слышите, как царапнула - скользнула по шелковой ленте булавка в руках Сони, — служит тому, что вы ",видите" перед собой изображаемое, слышите и обоняете, когда того хочет Толстой. Разве не знаете вы, напр., как на Бородинском поле, перед войсками, служат молебен? "Слабый свежий ветерок играл волнами открытых голов и лентами, которыми была убрана икона."

Само собой разумеется, что писателю нужно обладать исключительным воображением и исключительной "памятью чувств", памятъю на слышанное, виденное, пережитое, чтобы рисовать живые картины в таких деталях. Ведь, благодаря им, Толстой, как никто дал нам "почувствовать" и увидать лик войны. Указывают, следуя самому Толстому, что точности изображения военных картин он учился у французского писателя Стендаля. "Он научил меня понимать войну", писал Толстой. Возможно, что

отчасти толстовск. точность при описаниях навеяна Стендалем, но необычайная жизненность "мелочности" Толстого — от его исключительно же "жизненной", всю жизнь кипевшей "натуры", вскормившей, обостривше й и усилившей его "воспринимающий аппарат" до степени необычайной, до "мощи". Я сказал, что сила воображения и памяти — одно из главных условий художественного творчества. "Память чувств" Толстого (если ему верить) была сильнее, чем у кого либо. Если Достоевский, Пушкин, Диккенс — помнят себя с 3-5 лет, то Толстой хранит "ощущения пеленания", чувство "высвобождения" из пеленок (как рано началось стремление "мощи" — на волю). Что касается воображения, то довольно одного рассказа Толстого в письме к тетке его. Здесь мы читаем, как Толстой, под'езжая к какой то деревне, вообразил себя вдовцом и что недавно тут жило все его семейство." И какое прелестное семейство! Особенно жалко было старшего сына. И жена была славная, хотя и странная женщина!"

Надо отметить еще одну черту, которая необходима для большого писателя: он должен живо "увлекаться" изображаемым, любить это "вхождение" в чужие души, жить потребностью изображать, излиться, художественно творить. И недостаточно одной наблюдательности, зоркости, воображения — нужна еще "сила сцепления" всего этого нагроможденного, порождаемая любовным, страстным "вчувствованием" в изображенное.

"Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сделанных между собой для выражения себя. Сцепление это составлено **не мыслью,** я думаю, **а чем то другим** и выразить основу этого сцепления непосредственно словами нельзя."

Без "горячего" подхода к изображаемому, говорит Толстой, — нет искусства. И когда он пишет, он "сгорает" от увлечения своим материалом. ("Левочка всю зиму раздраженно, со слезами и волнением пишет" — заносит в дневник **его жена.**)

Он ставит в вину Тургеневу, что во всем романе "Отцы и дети" нет ни одной страницы (?), которая была бы написана "с замиранием сердца."

Вот и еще причина почему у Толстого войска движутся, и волнуют нас своим движением, люди страдают и любят так, что и мы с ними любим и страдаем, а пчелы и мухи действительно жужжат и вьются около нас. Они "сцеплены", соединены в одно целое — с авторским и, следовательно, нашим "бытием" и природой, небом, воздухом тем движением и пространством ,которого они и автор — часть. Что "командует" этим творческим сцеплением массы разнороднейших фактов.

Прежде всего, страстная, богатейшая чувствами "натура" Толстого. Она — из двух стихий: — барской, феодально - крепостнической, знавшей в наследии прошлого широкие размахи и дикие вспышки (до конца дней "срывался" иногда Толстой в своей горячности, не говоря о более ранних его "вспышках", подобных ссоре с Тургеневым или его безграничному гневу за обыск) — и вместе достижения аристократизма духовного (обожаемый Толстым — Пушкин) — и другой стихии, тоже "деревенской", тоже чуждой городу и его цивилизации, тоже связанной с полями, где баре "травили", а мужик пахал и сеял — стихией крестьянской. Спаянность одного и другого даже во внешности: "барские" манеры, лорнет при взгляде на картины, и брови и борода "дяди Ерошки."

И такое упорное тяготение этого тончайшего аристократа духа к "мужику", не только к его сохе, к его вере (Сютаев, Бондарев; ранее созданный воображением Каратаев), к его бунту и покаянию ("Ванька - Каин"), но к его языку ("намедни", "давеча" — вот слова, которыми полна речь Толстого дома).

"Деревня" — с ее веснами, грозами, физическим трудом, рабской близостью к природе, с ее ароматами, закатами, перепелами и коростелями, со всем ее строем, далеким чиновному, сухому, враждебному городу - правительству, одинаковому дале-

кому старому барину и мужику, вот что за плечами! Тут и могучее здоровье и "волшебное" чутье и зоркий глаз и свежесть грубости и свобода простоты. И куда "великому" чиновнику Сперанскому, так презрительно изображенному представителем враждебной "деревни" — Толстым — до какого нибудь старосты Дрона в имении Андр. Болконского! Книжное, бюрократически мертвое — и природное, жизненное!

Эту суть деревни - природы впитала мускулистая, удивительная крепостью и выносливостью в 70 лет, фигура Толстого: она сказалась от порывов к "Казакам" до разгрома "надстроек" лже - цивилизации в "Царстве Божием". Она наделила чарующей поэзией, она же и "грубостью", прямотой разоблачений не истинно - природного, ненужного, по Толстому, призрачного.

Эта природная мощь толстовской натуры проявляла себя чисто художественно уже в поздние годы жизни писателя, когда казалось, он овладел ее "хаосом" и утвердил единый путь любви и служения. Она сказалась и в страницах "Отца Сергия", где дан читателю почувствовать с юношеской силой весъ "дурман" плоти, вся пьянящая сила прикосновений.

Этот "сон", который видела дочь купца, эти руки отца Сергия, которые в этом сне касались ее груди!

Или вот — "Хаджи Мурата" — гимн сильной, свободной, гордой, смелой, почти дикой, но прекрасной и в своей дикости и в особенности беззаветно отдаваться чувству — личности; особенно прекрасной по сравнению с "зашнурованной", выработанной в атмосфере придворного лицемерия цинично - эгоистической личности Николая Первого.

Страшен Хаджи - Мурат, этот горный орел в образе человека, когда он идет на верную смерть, чтобы умереть "достойно", но Толстой, миролюбец Толстой, увлечен им в эту минуту: сила воли, мощь "породы" — чаруют его, а вместе с ним и читателя.

"Раздалосъ несколько выстрелов, он зашатался и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось мертвым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище и, ухватившись за дерево, он поднялся весъ. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились."

Страшен, но и велик в непреклонности могучей личности.

На "двойной" стихии как на канве, вышил свои знаменитые узоры указанный выше "психологизм" Толстого, для чего пона добилась еще громаднейшая работа писателя над собой, громаднейшее упражнение. И кто заглядывал в опубликованные дневники Толстого, кто читал его письма к друзьям, тот помнит, как там все пропитано самоанализом, наблюдением за собой, выработкой себя. Подмечаются все движения своего "я", оцениваются, взвешиваются с удивительной смелостью и решительностью. "Сладострастие не дает мне покоя. Играл и пил" — вот откровенные записи в дневниках молодых лет, а затем идет борьба, упорная борьба со своим "звериным". Из этой самопроверки вырастают философские опыты Толстого юных лет, те "пустоты", о которых рассказано в „Отрочестве" отсюда же возникает его замечательное первое произведение (до "Детства"), опубликованное всего два года назад. Оно называется "Вчерашний день" — и в художественной форме стремится проследить каждое движение, каждую мысль человека в течение дня.

Толстому не удалось закончить этого опыта. Слишком тонок и сложен анализ. Но до наших почти дней никто не превзошел его в этой тонкости. И только может быть не так давно умерший Марсель Пруст, прославленный сейчас французский писатель, продолжил, по своему, начатое Толстым. В этом опыте, названном "Вчерашний день" замечателен "двойной разговор", который ведут люди друг с другом. **Она** и **он** говорят незначущие слова, а за этими обрывками фраз — сложная, скрываемая друг от друга, чуть отражающаяся в блеске глаз, без слов беседа о **третьем**, о муже,

который мешает только что зарождающемуся чувству. Здесь зачатки одного из обычных стремлений Толстого, как художника. Он любит показать, что человек часто поступает известным образом с определенными, кажется, намерениями, а на самом деле хотел поступить иначе, Человек сказал то - то, а подумл иное. Тут указание на два потока в душевном мире: один, регулируемый нами ,первое сознание, а другой — протекающий скрытно, второй "ум". Толстой это подмечал прежде всего за самим собой. Он шутил ,например, что Анна Каренина поступила, покончив самоубийством, совсем не так, как хотел автор в своем явном, внешнем плане, более головном. В "бессознательном" процессе творчества победил скрытный "второй" ум — и Анна бросилась под поезд.

Во "Вчерашнем дне" есть такое место: "Я не заметил, как тело мое ,извинившись очень прилично, что не может оставатъся, положило опять шляпу и село преспокойно в кресло." Два — в одном!

"Тело" и "наблюдатель"!"

Но сила Толстого, как художника — психолога не только в раскрытии 'человека' в его индивидуальном облике с обнаружением в нем "общепсихического" ("всечеловеческого"), по выражению К. Леонтьева. Толстой любит отмечать черты классовой и сословной психологии (таково это отношение "свысока" у Вронских, Болконских, даже Левиных — к людям не их круга), он стремится понятъ психологию наций, особенно русской нации ("русский" разум Кутузова, верящий в силу "народного духа", в "неизбежность";"русский" уход Пьера от лжи и искание правды", русская "круглость", цельность, "простота и правда" Платона Каратаева и т. д.); он так обнаруживает психологию толпы (растерзание "шпиона" Верещагина в Москве), что у него после черпают материал для своих научных статей социологи (Н. Михайловский. Герои и толпа).

За движением стотысячных масс в "Войне и Мире" — он читает "философию истории", философию о решительном преобладании в историческом процессе роевого, массового начала над личным.

Теперь необходимо указатъ на те свойства толстовского художества, которые особенно ставились ему в заслугу в Зап. Европе и Америке (знаменитый писатель - реалист конца 19 века и начала XX-го — Хауэллс, написавший предисловие к "Хозяину и Работнику"). Это толстовская "правда и простота" рассказа, вытекавшие из исканий "внутренней" правды и все усиливавшаяся с годами. Толстому поздних лет — "Детство" уже кажется (только ему!) "неискренним". Ему "противно" писать Анну Каренину не только потому, что там "любовь пустого офицера" к такой же женщине, но и потому, что назрела потребность в еще более простой, наиболее легко, прямо, "по существу" говорящей форме "народных" рассказов. И нападки Толстого на Шекспира — так же, как и его статьи о том "Кому у кого учиться? — крестьянским ребятам у нас , или нам у крестьянских ребят? - все это "боль" за наивысшую "правду и простоту" художественного выражения. К концу жизни он готов был еще произвести реформу в своей манере рассказа, но мог только восторгаться и удивляться Чехову, который умел "так удивительно просто" сказать в немногом очень многое.

Еще в конце второй части своих "Севастопольских рассказов" Толстой написал свои знаменитые строки: "Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда есть, был и будет прекрасен — Правда."

Восторженный Некрасов писал по этому поводу Толстому: "Это именно то, что нужно теперь русскому обществу — правда! правда!"

Но автор "Кому на Руси жить хорошо" — не оценил в достаточной мере "Правду" великого художника Толстого. Это больше чем только "политическая правда" о России — это Правда — в общечеловеческом масштабе. Это желание все раскрыть, все разоблачить, чтобы все понять — и найти

"путь жизни". Толстой нашел его, утвердился в нем, составил даже книги "Путь Жизни" и написал (незаконченный) роман "Нет в мире виноватых", но вышел он на свою дорогу — через свое художество. Толстой художник — учитель Толстого мыслителя.

Путь Толстого через художество к проповедничеству надо, конечно, понимать не только как израсходование эмоционаљной, художественной энергии и смены ее постепенно — энергией иного рода.

Нет, еще и так:

всеохватывающая, океаническая в своей мощи "натура" Толстого впитывала в себя, "проглатывала" (как это делал художник Михайлов, изображенный Толстым в "Анне Карениной") — все явления жизни во всех их деталях. Она купалась в океане жизни и устами Пьера Безухого про - возгласила принцип вольного жизнерадостного пантеизма — **Жизнь есть Бог!** Она же дала еще более жизнерадостную фило - софию "единства всего сущего" в образе со лдатика Платона Каратаева, о чем уже упо миналось, но на чем следует остановиться дољше.

Платону Каратаеву лет за 50. "Все тело его имело вид гибкости и в особенности твердости и сносливости", в его движе ниях, что то приятное, успокоительное и круглое" (в нем, повторю, по Толстому, не постижимое, круглое, вечное олицетворение простоты и правды, живущей в русском народе). Он все умел делать. Он пек, варил, шил, строгал, тачал сапоги. Он всегда был занят и только по ночам позволял себе разговоры, которые он любил, и песни.

Как сам Толстой "часто он говорил противоположное тому, что он говорил раньше, но не в этом дело, а в "духе" го - воренного и в том, как это говорилось. Ласкательные словечки и пословицы украшали его речь. Говорил о вещах простых, а за ними чувствовалось "барину" Пьеру, воспринявшему "Каратаевщину" на всю жизнь (ведь и Пьер — частица Толстого) — **торжественное благообразие.** "Думали горе, ан радость". "На болезнь плакаться —Бог смерти не дает." "Час терпеть, а век жить".

Платон Каратаев любил и любовно жил со всем. Он любил свою шавку, товарищей, французов, любил Пьера, который был его товарищем по плену. И жизнь не имела для него смысла, как отдельная жизнь, а как **часть целого**, которое он постоянно чувствовал. Но и свободнее его не было человека.

Творческая натура Толстого создала величайший в мире гимн жизни, названный художественной деятельностью Толстого. Она пела этот гимн не только "божескому" — но весму, что мощно, красиво, сильно, здорово, естественно. Отсюда "Казаки", где стихия природно - здоровой, полу - дикой жизни, близкой миру окружающего звериного свободного царства, оказывается не по плечу "испорченному" лже - цивилизацией Оленину. Отсюда все те вспышки "страсти", телесного, земного восторга перед жизнью, которые так рассыпаны по всем почти произведениям Толстого - художни - ка — даже в старые его годы.

Не странно поэтому, что пьяница - музыкант Альберт, в рассказе того же имени, идеализируется Толстым и представлен им, как нечто "живое" в противополож - ность "мертвой" хотя и благопристойной жизни Делесовых и друг. В "Анне Карениной", где в лице Левина Толстой определен но становится на первые ступеньки своей будущей проповеднической кафедры, за религиозными исканиями этого "опрощающегося" либерального барина, мы читаем страницы о мощи той "природной воли", которая сама водит рукой косцов, той воли, которая "вдавливалась" в Оленина через стихийную любовь к Марианке в "Каза - ках." Правда, в этом же романе брошен впервые упрек "звериному" в человеке, понимаемому, как узко-эгоистическое и слепое служение плоти (Любовь Анны к Вронскому).

Здесь уже призывается кара Бога ("Мне отмщение и Аз воздам"), еще может быть старого толстовского "православного" Бога на необузданное подчинение во

ле - страсти. Но и тут Толстой, частью вольно, частью невольно (говорил же он, что "задумал" конец один, а "что то" продиктовало ему иной) — пропел гимны не телесной природе, восторгаясь ею даже в образе красавицы - лошади "Фру - фру", но и плодовитому материнству и мудрому бессознательному в человеке.

Вспомните милую Китти, ее роды, замечания Толстого о новорожденном, что он знает больше, чем взрослые, увлекательную беседу крестьянских женщин с Долли о плодовитости, беседу, как бы "воскрешающую" Долли, придавленную многосемейностью.

Ведь еще в 1903 году Толстой обратился к "Женщине" со статьей, где проводил излюбленную свою мысль о назначении матери, о необходимости "отрожаться", а потом уж браться за науку и проч.

Правда, в эти годы Толстой уже добавлял, что не просто рожать, исполнять волю природы, а производить потомство с целью поставить его на религиозную основу должна женщина, однако здесь все еще гимн "плодовитости", приговоренной к смерти в "Крейцеровой Сонате."

В художественной форме, кроме "Анны Карениной" этот гимн пропет Толстым, как известно, с особенным восторгом в "Войне и мире." Одна из героинь (у Толстого почти нет центральных героев. Все интересны, все нужны — все — различные стороны кипящей жизни), уже известная нам Н. Ростова, эта нежная, милая русская весна в молодости, — в дни своего лета, после романтической любви к Андрею Болконскому, смененной "здоровой", земной любовью к Пьеру Безухому, становится идеалом матери - жены — "родительницы". Она все тот же брыжжущий полнотою естества кусок природы, но в периоде отправления своей новой функции — материнстве. И пеленки с желто - зелеными пятнами на них, говорящие о состоянии здоровья ее потомства ,для нее дороже, кажется, всего на свете.

Не думайте, что Толстой осуждает, вышучивает. Ведь это писалось в дни его расцвета, как "мужа - отца", в дни упоения этой стороной жизни ,в дни громких гимнов ее полноте!

Конечно не одно "естество", сверкающее то непосредственной очаровательностью молодости, то силой материнства, так волновали его. Перед ним развертывалась жизнь от Аустерлица до Бородино, протекавшая в живых человеческих массах и в различных индивидуальностях. Отобразить этот чарующий хаос жизненно, чтобы все двигалось и кипело и стало близким читателю, как полдинно - живое, а затем — "осмыслить" этот поток — вот что захватило годы работы, не говоря о собирании документов, о чтении многих десятков книг, рисующих эпоху и, в частности, войну 1812 года и военное дело того времени. И сколько силищи стихийной в движении масс, какими бы мотивами оно ни направлялось. Сколько напора жизни в отдельных поступках всех этих Денисовых, Ростовых, даже Долоховых и Куракиных, не говоря уже о трогательных Тушиных.

Клокочущая жизнь, усыпанная для еще большего очарования теми снегами, среди которых мчится лесом на саночках молодежь Ростовых, летом овеянная ароматами полей и лесов ,по которым разливается ширь здорового и сытого бытия.

И иные находят, что "соблазн" Толстого к действенной, в частности "барской" жизни, какова бы она ни была, так силен в "Войне и Мире", что заслоняет многое из его критики этой жизни.

Таков Толстой художник, "стихийность" которого старался подчинить разуму другой Толстой.

Острота зрения Толстого в "В. и М." на высшем своем пункте: картины грандиозных боев и какой нибудь Лаврушка и какой нибудь обнаженный, потом зеленеющий дуб — все это под "микроскопом" гения. И все ценно — нет исключительно ценного. Ценна жизнь, божественный поток ее, где Наполеон и Платон Каратаев, солдатик — лишь частицы единого.

Чтобы дать впечатление великой многогранности жизни, Толстой прибегает к па

раллелям: под властью судьбы — воли — внешне представленной полководцами, сталкиваются в кровавых боях люди - массы, а в это время развертываются перед нами личные душевные бури, их весны и зимы. Вот чистым душам Пьера и Марии Болконской грозит ранение от окрестной лжи и лицемерия. Вот паутина юной любви в доме Ростовых.

Или "воля", поток жизни скажется не в лязге оружия, а в процессе "искания" Бога тонкой и сложной душой Андрея Болконского.

Здесь лишь намечено немногое из художественных "хождений" Толстого по жизни в "Войне и Мире." Чтобы, по необходимости, закончить с романом, я позволю себе привести цитату из Р. Роллана, касающуюся лишь одного из образов, Наташи Ростовой, долго бывшей "идеалом" для многих русских сердец.

"Кто бы поверил, пишет Роллан, что не знал ее? Эта удивительная весенняя ночь, когда Наташа, у своего окна, залитого лунным светом, мечтает и безумно лепечет над окном князя Андрея. Волнение первого бала, любовь ,ожидание любви, катанье на санях ночью, в снежном волшебном, волшебно - сияющем лесу; природа, обволакивающая нас своей смутной нежностью: опьяняющее лицо искусства, безумие сердца, безумие тела; горе, омывающее душу: божественное милосердие у изголовья умирающего возлюбленного."

В "Анне Карениной" Толстой, уже шагнувший вперед в своих "исканиях" по сравнению с художественно более совершенными "Войной и Миром" — развертывает перед нами власть "воли" в проявлениях плотской страсти, способной растоптать душу; здесь "божеский закон", еще суровый, как Иегова, а не как Христов закон, побеждает хаос страстей (смерть Анны).

С другой стороны — "опрощенские" стремления Левина, превозносящие деревенский быт, труд, отрицающие "городскую" цивилизацию и следы ее в местной "политике". Левин еще "барин" (черты, как у Болконского, некоторого пренебрежения к "низшей" породе, купцам), но еще более близкого к "мужику", к "естественной жизни," чем Пьер, наконец, через этого мужика, — опирающегося душевно на новый зов "мужицкой" религии.

Следует у к а з а т ь, что когда дело доходит до изобличения лжи - жизни, по Толстому, то он резок, прям, правдив и суров в своих художественных произведениях не менее, чем в своих "учительских".

Всем памятны его приемы раскрытия подлинности суда человеческого и формальной стороны религии в "Воскресении."

"Сначала шли похвалы, которые кончались словами — "помилуй мя", а потом шли новые похвалы, кончавшиеся словами "аллилуйя".

"Священник, став перед золоченым изображением того самого Бога ,которого он ел" и т. д.

Но "Воскресенье" написано уже после "Исповеди", а потому, может быть, его "раскрытия", скажут нам, сделаны не художником, а проповедником, но вот "Война и Мир". Помните впечатления Наташи от оперного спектакля? Здесь Толстой предваряет в своей манере рассказа позднейшие статьи "Об искусстве", "О Шекспире" и т. д. Он раскрывает ложь и подлинный лик явления, ему кажущегося лживым.

"В середине сцены сидели девицы в красных корсажах и белых юбках. Одна, очень толстая, в шелковом белом платьи, сидела особо на низкой скамейке, к которой был прикреплен сзади зеленый картон. Все они пели что то. Когда они кончили свою песню, девица в белом подошла к будочке суфлера, и к ней подошел мужчина в шелковых в обтяжку панталонах на толстых ногах, с пером ,и стал петь, и разводить руками" и т. д.

Ложь оперная — вскрыта.

Мы видим здесь, как микроскоп Толстого "раз'ял на части" и лишил целого — явление, ему несимпатичное .

Так в "Севастопольских рассказах"— показ войны начинается не с маршей и оркестров, а с "оборотной стороны" — с уду-

шливых лазаретов и комнат, где режут ноги и руки.

В "Войне и Мире", где даны такие "увлекательные" боевые картины, как бы заставляющие забыть о пацифизме, Толстой, той частью своего "я", которое судило Наполеона, Сперанского ,Берга —за их "фальшивость" и "ненужность", "разоблачает" наше представление о геройских поступках. Ему хочется показать, что действительность проще, не так подкрашена, и он рассказывает нам об эпизоде с Николаем Ростовым.

По чувству "охотника" — Ростов решает, что хорошо "ударить" сейчас по французским драгунам. Его эскадрон мчится за ним. Сам он догоняет одного француза и ударяет его саблей.

"И в то же мгновенье, как он сделал это, все оживление Ростова вдруг исчезло." Дальше Толстой рассказывает всю "житейскую" печально - смехотворную сторону этого геройского факта. И хотя он писал в 1865 году, что "цель художника не в том, чтобы неоспоримо разрешить вопрос, а в том, чтобы заставить любить жизнь в бесконечных, никогда неистощимых всех ее проявлениях" (Гимн жизни!), однако он, как мы теперь знаем, не мог удержаться с первых вещей своих, чтобы не "судить" тех явлений этой жизни, которые, по его мнению, искажают прекрасное лицо ее.

И интересно, что в "Воскресеньи", этом ярком выявлении Толстого художника и Толстого учителя — "Гимн жизни", хотя бы и облагороженной страданьями, пересиливает "рационализацию", рассудочность кн. Нехлюдова.

"Ищите Царства Божия и правды его, а остальное приложится вам. А мы ищем остального."

Так гласят одни из последних строк романа. И здесь много прекрасного, много от лучшего в Толстом — учителе.

Но эти ли строки и предшествующие им страницы с заповедями особенно волнуют читателя?

Может быть этот читатель слаб, а вернее, Толстой особенно силен, даже в старые годы свои, в изображении кипения жизни, которая (см. начало романа) "лезет", как трава из под камней весной, как ни стараются люди "придушить" ее.

И вот почему, сильная инстинктом жизни, Катюша выходит за Симонсона — не "разумом" только, а "всем существом" хорошего и действенного, хотя и не "совершенного" человека.

В "Воскресеньи" же есть старик - перевозчик, который хочет жить "сам по себе", верой своего "нутра": оно де и приведет к добру и всех. С какой любовью Толстой рисует эту "жизненную" фигуру.

"Безотчетная любовь" к жизни и людям! Но любовь не убивающая личность!" Вот один из главных мотивов "Войны и Мира." Вот восторг Пьера и осуждение Толстым "самоуничтожения" Сони.

Детство Левина полно "через край бьющим и пенящимся сознанием счастливой жизни."

Этому стихийному потоку рад Толстой и всюду открывает, раскапывает его.

Когда Наташа Ростова своим непосредственным молодым порывом "перевернула на добро" всю семью (хотели оставить раненых в Москве) — это не "разум" говорил в ней, а "все существо."

Не имея возможности останавливаться далее на этой стороне художества Толстого, укажу, почему этот "увлекающий хаос", пьянящий, как пьянили Катюшу поцелуи Нехлюдова, стал "охлаждаться", затвердевать .

Уже с юных лет, мы знаем, Толстой привык "обобщать", философствовать, делать выводы. Сомнения в вере ,наблюдения за противоречивостью людской натуры, ее хаотичностью, способность подметить пустоту, ложь, несправедливость в людских отношениях, ненужность многих "условностей" в жизни. Ведь в 15 лет он считал демократа Руссо — своим Богом и в Ясной Поляне, еще юноша, поражал гостей своим "независимым" в одежде видом: какие то туфли и халат, в которых он бродил с "философом" в руках. Но к этому прибавились далее факты, заставляющие "обобщать" и

философствовать. Смертная казнь и массовые убийства (война), которых он является свидетелем (поездка заграницу, "Севастополь" и другие "военные" рассказы), нелепости "цивилизации", отраженные в рассказе "Люцерн", где чопорное "культурное" общество вскрывает свой эгоизм и свою пошлость; любовь, исковерканная той же пошлостью ("Семейное счастье"), или уродуемая предразсудками с одной стороны и "звериным" в нас — с другой ("Анна Каренина), невозможность творить добро, когда есть рабство ("Утро помещика") и т. д. и т. д. — вот опыт Толстого.

Жизнь прекрасна, она — Бог, но ее уродуют, ее не понимают — и потому она кажет свой хаотический лик ,тогда как человек может найти какой то "закон" хаоса, внести какую то "гармонию" в последний, поскольку это касается его существования. Толстой старался почерпнуть эту гармонию из приближения к "правде жизни", отбрасывая внешне ненужное.

"Простота, доброта ,правда" — это что то "основное", воплощенное в мужичке Каратаеве. Кстати, о "тяге" Толстого ко всему крестьянскому можно бы написать десятки страниц. Ведь он не только великий "барин", но и великий "мужик" русской культуры с его зовом к "мужицкой" простой жизни.

"Поиски" Толстого начались еще с "Детства" и "Отрочества". Пусть от этих произведений веет еще сентиментальностью и ласковостью детства, чем то обаятельно "материнским" ("Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства!"), но уже в этой сентиментальности и большая любовь к "человеку", в частности "чужому", наемному, напр., учителю Карлу Ивановичу, к слезам его одиночества. В "трилогии" дано изображение последовательного высвобождения личности из под влияний этой среды. Начало роста самого Толстого, начало освобождения от подмечаемых им его стремлений "нравиться", гнаться за мнением окружающих. В третьей части, "Юностъ", мы уже встречаемся с кн. Нехлюдовым (один из друзей юности Толстого, А. Дьяков), который помогает Николеньке вырабатывать моральное миросозерцание.

Этот Нехлюдов, как символ моральных исканий Толстого, придет еще не раз ("Утро помещика", "Воскресенье") Словом, перед нами "ищущая" и "самонаблюдающая" душа, делающая, в повести "Юность" открытие, что "назначение человека есть стремление к нравственному совершенствованию."

В "трилогии", Л. Н., рисуя в непреднамеренном, безобидном, простом рассказе жизнь среди игр, охоты, поездок "на долгих", кутежей молодежи, визитов, уроков, мимолетных влюбленностей — не преминет, однако, нет - нет да и "развернуть" человека, вскрыть текучесть и сложность его природы. Так, например, Николенька полон искреннего горя, когда стоит перед гробом матери, но тут же в его душу врываются освершенно посторонние и оскорбительные мысли и чувства: "то желание показать, что я огорчен больше всех ,то бесцельное любопытство, которое заставляло делать наблюдения над чепцом Мими (гувернантки) и т. д."

За галлерей образов — зоркие, пытливые очи Льва, — скрытые от читателя в Николеньке. Но вот "Набег", вот "Рубка леса", эти первые этюды к "Севастопольским рассказам" и к "Войне и миру". За картинами "тишины" кавказской ночи, звоном орудий, солдатскими песнями и разговорами "серых шинелей" у костра (отзвук тургеневского "Бежина луга) — вопросы о войне, "величественном", но самом ужасном из зрелищ, о ее бессмыслице и ее не-христианстве.

Толстой задумывается все крепче; задумывается о природе хаоса в котором рядом с красотой звездного неба — отрубленные головы и руки. Еще не читав ни Канта, ни Шопенгауэра (все это придет позже, и они станут его любимцами, особенно последний) — Толстой уже "чует" власть какой то воли в мире, то он молится ей, то ищет от нее спасения в "нравственном законе", поражаемый ее слепостью. Понимание им этой внутренней правды —

меняется в годах, но само искание ее ведет его сквозъ ряды его героев и действующих лиц его произведений.

В "Севаст. рассказах", где особенно сильно развернута жесткая и ужасная "проза" войны, где, одновременно, рядом с этими ужасами Толстой показывает "возвышающие душу зрелища" — способность страдать и умирать спокойно и просто, мы находим за "Хождением по мукам", за штрихами в роде — "фельдшер бросил в угол отрезанную руку," — отчаянные "мольбы неведения", какое то желание каждой страдающей в этом хаосе былинки найти об'яснение, найти опору. Как ни захватывает читателя страшное "движение" в этих рассказах (знаменитый бег Козельцова с криком "Вперед, ребята! Ура-а! и т. п.) полное "вхождение" его, читателя, в жизнь Малахова кургана в "огненные" часы, или в быт почтовой станции, полной офицерами и чемоданами, но за всем этим — образ того малъчика, собирающего цветы в поле, детскими глазами которого, несоблазненными заставляет Толстой взглянуть нас всех и ужаснуться и понять.

"И долго смотрел на один странный безголовый труп. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь."

В течение трех рассказов читатель так сжился с офицерами братьями Козелъцовыми, Михайловым и др., с траншеями и взрывами, что лишь подсознательно чувствовал то, что "ищущий правды" Толстой скажет ему громко:

"И эти люди христиане, исповедающие один великий закон любви."

"Белые флаги спрятаны, и снова свистят орудия смерти."

В "Казаках", этом восторженном гимне почти первобытной жизни, первобытной телесной красоте, первобытной близости человека к лесу и зверю — снова и снова вопросы, раздумье, искание путей.

"Герой", Оленин, поражен мощью, красотой, свежестью природы, сказавшейся и в таких "цельных" натурах, как Марьянка, Лукашка. Здесъ первые шаги к "опрощению", которое станет после одним из главных мотивов "учения" Толстого и к тому "пантеизму", приобщению к жизни всего мира, о котором шла речь выше.

Оленин — "такой же комар, или такой же фазан, или олень, как те, которые живут теперь вокруг него."

Вот путь освобождения от городской "лживой" цивилизации, вот новый свет.

Но за одними попытками, порывами — новые разочарования и новые искания. Тут колебания самого Толстого, этого богатыря из двух миров, ощущавшего "всем существом" всю обаятельность полной жизни, включая сюда "звериность", телесность ,игру страстей, — и другого, искавшего всю жизнъ найти высший закон, "божеский", который бы внес осмысленность, гармонию, высший свет в этот хаотический поток.

Так идут дальнейшие искания Толстого, отражающиеся в раздумьях, обобщениях "внутрених монологов" его главных действующих лиц.

В повести, законченной раньше, но начатой позже, чем "Казаки", в "Утре помещика" — искания Нехлюдова - Толстого переносятся в деревню. В делани добра для "мужика", для крепостного — поиски счастья и смысла. Но снова разочарования: "выдуманная новая молотильная машина только свистела, а ничего не молотила." Все встречалось недоверием, смехом, иронией. Об'ясненпе краха — в неизменности основной порчи жизни — (крепостное право) и в безсилии исправить ее только цивилизаторскими приемами. В "Люцерне" уже подвергается открытому осуждению сама эта цивилизация.

Опять перед нами "исповедь" души Толстого при посредстве кн. Нехлюдова. Вид уличного певца, которому богатые иностранцы отказали в подаянии, вызывает — небывало резкий протест против "воображаемого знания", уничтожающего добрые, природные инстинкты, вытесняемые лже-цивилизацией.

Допустим, что это "от Руссо", но это часть толстовского "горения", которое

опять таки даст себя знать позже, в период после "Исповеди."

В "Записках маркера" — одно из отражений душевного кризиса, к которому Толстой, несколько позже, так близко подошел: отвращение к самому себе за отдачу власти хаоса (страстям) и разрешение этого самоубийством героя повести, кн. Нехлюдова (двойник Толстого).

Невозможно пересмотрѣть всего художественного багажа великого писателя - так он громаден. Уже из сказанного видно, как "художество" Толстого, кипучая и шумная река жизни, которую он изображает с "подвижностъю" и яркостью убедительнейшей, почти всегда через "мелочи" приводит к "выводам", которые есть ступени к "нехудожественной" части толстовского творчества — или той художественной, которая овладела им с 80-х годов, когда "искусство" стало для него не путем познания, а средством проповеди, хотя оба эти вида переплетались и боролись друг с другом в кипучей душе седого писателя.

Вспомним "Власть тьмы", где под гениально - художественно изображенной оболочкой,крестьянским бытом, показана 'тьма' человека - вообще (так об'яснял сам Толстой), забывшего о "божеском", едино - существенном, в слабостях "плоти", в страстях, затемняющих разум. Косноязычным, но "истинным" языком старика Акима Толстой говорит о тщете человеческого "закона" и "суда" (обращение к урядику: "Ты погоди, светлые пуговицы") перед совестью, перед судом высшей правды

Но существенно еще указать вот на что: перед Толстым маячил грозный образ Смерти. Ей он отдал дань и в "Детстве" (ужас ее) и во всех сценах войны и в знаменитых предсмертных анализах "тщеты пустой жизни, делаемых перед лицом далекого прекрасного неба — Андреем Болконским и в "Трех Смертях", где намечается примирение в пантеистической вере в единство всего сущего, как бы приемлющего в свое лоно отдельную смерть, и в "Смерти Ив. Ильича", где смерть является как бы новой жизнью (так и в "Хозяине и Работнике"), благодаря прозрению в последний момент,что предшествующая была лже - жизнью, пустой, эгоистической, частицей хаоса.

И вот через все творчество Толстого проходят три линии: страстная любовь к жизни "настоящей", по природе, по правде, по простоте, и здоровости, полноте. Страстный протест против того, что в ней исковеркано и против тех, кто ее коверкает или не понимает: Наполеоны, Сперанские, Растопчины, все прислужники лже - законов, все рабы лже - любви, полной условностей или зверских страстей, без Наташиной "поэзии" или без ее "материнства." Страстное желание "обезоружить" смерть, осмыслить ее, — зарытъ пропасть между нею и жизнью.

И в громадном большинстве произведений Толстого, включая сюда и его ранние и его поздние вещи (уже после "Исповеди") мы найдем, как через своих "героев" он идет по той или другой линии, или же по всем сразу. Иногда этот путь — бурное устремление к одному пункту. Так, в "Крейцеровой Сонате" — доведенный до крайности протест, намеченный в "Анне Карениной." "Зло" слепой плоти, которое, по Толстому, должно бытъ убито, хотя бы прекращением деторождения!

Особо следует сказать о "Народных рассказах" Толстого, имеющих проповедническое значение, но всегда изумительных силою простоты своего изложения, всецело переносящей читателя туда, где происходит дело, к тем, о ком Толстой говорит.

Даже в "Трех старцах" — этой полу - шутливой притче на тему о существе религии, где "святые" забыли слова молитвы, которой их научил епископ, все "живое" и настоящее, от корабля до епископа.

Особенно же в этом отношении замечателен рассказ "Где любовь, там и Бог". Может быть лучший из "народных". Это лишь переделка Толстым чужой вещи, но то, что в оригинале было сухой проповедью с "видениями" в католическом духе, у Толстого стало простым, милым, согре -

тым любовью рассказом о быте старика сапожника и разных обездоленных и обиженных жизнью людей; на всем печать правдивости и задушевности.

Как Авдеич шутит с ребенком работницы, грозя ему корявым пальцем! Что то "Каратаевское" в "народных" рассказах Толстого, но только уже с иным религиозным характером.

В заключение несколько слов о так называемых "посмертных" произведениях Толстого.

Вот в рассказе "Алеша Горшок" перед нами снова гимн простой, свежей, здоровой, жизни. Гимн "нутряному" ее пониманию. Вот в "Фальшивом купоне" проявление толстовского "развертывания" обнаружения ужаса убийства, рассказа, необычайного сильного **из за простоты** своего изложения.

Вот в рассказе "Диавол" — снова власть "дурмана жизни" — в образе молодой бабы Степаниды, овладевающей духом человека через его тело. Черемухи, орешень, молодой кленок — все это не забыто Толстым в его рассказе о "пьянящих" сторонах бытия, но и об ужасе его, если нет "закона внутри нас", не калечащего, по Толстому жизнь, как придуманный закон "извне", а ее устрояющий согласно высшей правде, высшей гармонии бытия.

А сколько солнечной силы, сколько правоты "неизломанному" здоровому деревенскому бытию в "Тихоне и Маланье!" Это снова гимн природе, не знающей "людских коварств".

Таков широчайший и глубочайший захват явлений, таков размер "полотна" Толстовской картины жизни, даже не полно показанный. Много на эту картину смотрели и еще будут смотреть, много о ней писали и будут еще писать, но долго не охватить всего взором, а, главное, не забрать в рамки определений и выводов всего этого потока, даже зная о "выводах" самого Толстого.

Может быть этого и не следует делать до конца, а приникая к потоку, перечитывая Толстого, каждый раз, по каждому данному образу, по каждой картине, запасаться бодростью из этого кипучего источника, радостью любви и красоты и мыслью, суровой мыслью о враждебных им силах, как в нас, так и вне нас лежащих.

Значение Толстого - художника — в насыщении наших чувств ощущением потока жизни, раскрытием всех струек этого потока, как они сказываются в личности и в общественной, массовой жизни, в наделении нас уроками познания, уменьем разбираться в человеке и в жизненной пестроте, а, следовательно, и находить пути к совершенствованию жизни и самих себя.

Ал. Фовицкий.

Б. ГЕРШЕНФЕЛЬД.

АПОСТОЛ ХРИСТА

Как бы ни старались люди заглушить в себе живое чувство любви, как бы ни старались поработить друг друга ,какое бы зло ни причиняли одни другим — подоб - ным себе, все же в минуты остепенения своего, огненный свет души - совести загорается в каждом человеке. И уразумев его значение и почувствовав силу его влияния, никто уже не может больше жить без него, как не может прозревший и освобожденный оставаться во тьме и в неволе.

Одним из ярких выразителей никогда не меркнущего света души человеческой, сумевшего пробудить сознание совести мил лионов людей, был Лев Николаевич Тол - стой. Ум ,которым обладал Толстой ,был поистине божественен; его душа, не взирая на окружающую тьму, была самым ярким светильником для человечества. Толстого можно принять как пришествие вто - рого Спасителя. Ибо в нем воистину Хри - стос воскрес.

“Будьте братьями“, главное наставле - ние людям, проповедуемое Львом Николаевичем. Подобно Христу, он видел залог вечного блага людей в осуществлении этой великой правды жизни.

И действительно, мы видим, что между родственными по крови людьми существует какая то особенная обязанность по отно - шению друг к другу во всем. А между тем, кровное родство, даже самое тесное, ни - как не может соединить людей прочной дружбой, если у них нет тесного духовного взаимоотношения, осмысленной, сближаю - щей любви, зиждущейся на свете - разуме, сияющем из глубины души. Сколько есть родных братьев, родителей и детей, неинтересующихся друг другом? И это совершенно нормальное явление; таковым оно и должно быть, если у этих людей нет более существенной, более достойной свя - зи, чем случайная, кровная. Но зато, лю - ди никогда не видавшие друг друга и не только не соединенные кровью или родом, но даже чуждые своей национальностью, языком и обычаями, но родственные в духовном отношении ,суть истинные братья. При одной мечте о возможности сотрудни - чества с ними на ниве жизни, при одном представлении или воспоминании о них загорается радостью все существо человека. Все люди, сочувствующие друг другу, любящие до того, что готовы пожертвовать всем личным для блага другого, есть вечные, природно - законные братья. Единственное, соединяющее людей братство, это мировая любовь. И вот эту то беспредельную любовь, пробудившуюся по тяготению мировой человеческой души во Христе, осознанную и оформленную им и вылившуюся в учение для всех людей ,до конца впитал в свой ум и сердце Толстой. И никакие кровные, родительские или случайно родственные, братские “обязанности“ не мо - гут заменить чувства взаимных дружеских отношений, основанных на связи духовной, благодаря которой люди могут свободно, без всяких узаконенных обязанностей безгранично любить друг друга .

И в самом деле, почти у каждого из нас есть кровные братья, — если они и горе и радость нашу могут одинаково с нами понимать, чувствовать и в жизни де - лить; если они могут для нас быть опорой в каждую минуту, то они нам дороги и близки. Если же они, эти случайные, кровные братья ,при всяком удобном случае готовы эксплуатировать и даже закрепостить нас, то они нам бессомненно совершенно чужды. Но беспредельна любовь в душе каждого человека к чуждым по крови, но родным по складу мышления и чувств людям. Одна мысль о них ,одно представле - ние о их жизни ,одно воображение о делах их зарождает в наших сердцах веру в них и воодушевляет в нас желание сближения с ними.

Любовь к людям, служение всем, жить для других — суть главные нравоучитель-

ные помыслы Л. Н. Толстого.

Этот великий Брат людей и будитель совести человеческой, жил и умер с глубокой надеждой и верой, что все люди станут братьями. И вера его в братство людей когда нибудь бессомненно восторжествует; она неминуема и должна осуществиться, ибо заложено это чувство в каждом из нас.

Всякий человек всем существом стремится быть в тесной дружбе со всеми окружающими его; каждый желает видеть брата своего во всяком человеке. И всякий желает, чтобы каждый человек чуял бы и в нем — брата своего. Что же такого сокровенного находится в этом желании считать других своими братьями и себя братом их? Почему каждый из нас жаждет находиться в таком положении? Потому что всякий из нас желает быть любимым, ибо в каждом человеке живет затаенное чувство любви. Нелюбимый и нелюбящий человек всегда чувствует себя чуждым всем и совершенно одиноким. Сближается же человек с другими преимущественно тогда, когда в нем проявляется любовь к людям. Таких же людей, которые никого не любят, почти нет. Даже такие, у которых нет ни родных, ни знакомых, если они только в критическом положении, или вообще в нужде — всегда почти привлекают чье либо внимание и сочувствие. Тогда и злосчастные и забытые становятся любимыми. Они же с своей стороны, с той поры, сами тоже любят, ибо не могут не полюбить тех ,в сердцах которых они нашли утешение и радость.

Но почему же люди, несмотря на то, что братские отношения и любовь так благотворно влияют на них, все же не становятся настоящими братьями — духовными товарищами? Что стоит на пути их внутреннего стремления к осуществлению этой правды жизни? Почему не приводят они этот человечный закон в исполнение? Потому что не готовы еще люди об'единиться, ибо не гармонируется еще внешний лик человека с душой его, и дела его не осознаны всесторонне умом и не проникнуты чувством духовности. Учение же мира сего наставляет и заставляет людей жить так, как они живут.

“Будьте братьями — истинными друзьями, любите друг друга, а все остальное приложится вам.“ Вот завет великого учителя Христа и его ученика Толстого. Справедливость, правота и бесконечное благо такой жизни бессомненны; и человек, познавши ее, вступает на путь своего совершенствования.

Влияние любви — дружбы среди людей (несмотря на существующее изобилие зла) так многозначительно, что без нее жизнь человеческая делается совершенно опостылой и жалкой. А проявившись в человеке, она бывает до того чувствительна и отрадна ,что не только придает огромную силу воле его, но также неизмеримо возвышает и облагораживает душевное состояние его .Любящий человек легко находит благоразумное сосредоточение во всех делах своих в жизни. Ибо любовь сама по себе есть цель, стремясь к которой человек в состоянии увеличить всякое свое желание и энергию. И поэтому переполненный надеждой на достижение и осуществление достойного человеческого бытия, любящий человек всегда почти бывает жизнерадостным, неутомимым и добрым; а главное — доверчивым. Не доверяют же люди друг другу только потому, что сами они не честны. И не мудрено :имея лишь себя одного в виду, всякий, кому ближний что либо доверил, всегда готов злоупотребить этим доверием. И такой человек, понимая свое недружелюбное и нечестное отношение к ближнему, сам тоже не доверяется другому. Отсюда вытекают недовольствия и жалобы; а с этим и суды, которые своим существованием еще больше увеличивают неверие и недоверие человека к человеку. А судясь люди злятся и увеличивают зло. Но если бы все люди любили друг друга ,то не было и судов, ибо судиться могут только враги.

Нам хорошо известно, что никто в личных неудачах или вообще в интимных делах своих не желает возлагать свою участь или судьбу на посторонних лю -

дей. Всякий понимает, что суд официальный, форменный, правительственный никакого отношения не может иметь к тайнам, хранящимся в душе людей, когда по тем или иным причинам они провинились друг перед другом. Если же люди вообще обещают что либо, или даже обязуются в чем нибудь и не исполняют своих обетов и не готовы раскаяться, то нечего и судить их. Ибо осуждение не делает их лучшими, более откровенными и честными. Они ведь не честны в душе. Какое же может иметъ значение суд, даже заставивший их расплатиться за свои грехи. При первой возможности они повторят зло раз уже соблазнившее их. Только любя и сочувствуя друг другу, люди могут поступать чистосердечно и относиться добросовестно ко всем. То же самое замечается в самых обыденных повседневных делах людей: не любя и не интересуясь друг другом, они обманывают один другого и тащатся в суд. Вот почему все суды всегда переполнены никому ненужными людьми и делами. И великий учитель жизни, Христос, еще много веков тому назад ясно узрел это тяжкое зло, тоже вытекающее из отсутствия любви среди людей. И Толстой ярко и многозначительно утвердил эту великую истину.

Еще одна неосознанная большинством, непрочувствованная, не испытанная до конца правда жизни, ведущая к улажению неурядиц и благу, это — непротивление. Непротивление, этот самый что ни на есть благоразумный, человечный способ примирения людей, тоже впервые заложенный в умах и сердцах добрым наставником Христом, также был широко истолкован Л. Н. и всеми истинными последователями Христа. Само по себе это действие, как средство сокращения и постепенного искоренения насилия, зиждется на благоразумии, добродетели и человеколюбии. Человек стойкий в непротивлении совершенному над ним злу, обладает могучей силой воли ,несокрушимой выносливостью; а такая достойная черта, способная удержать человека от гнева, чрезмерно ценна в жизни человеческой. Только тот, в ком горит душа любовью к брату - человеку, может осознать и прочувствовать одновременно свое и обидчика положение, чтобы впоследствии убедиться в том, что он поступил благоразумно по отношению к ближнему ,если не пал своим человеческим достоинством до того, чтобы оскорбить человека, (хотя бы и повинного), но подобного самому себе.

Человек, нанесший кому нибудь оскорбление, сам понимает, что поступил нехорошо. Сколько мы знаем случаев, когда люди, причинившие зло другим,в особенности в пылу раздражения — напрасно, (всякие личные обиды и оскорбления бывают напрасные) часто сами впоследствии просят снисхождения, жаждут прощения за совершенный проступок. В особенности люди чувствуют себя виновными перед теми, кому они причинили зло и кто вместе с тем им не мстил. Нам тоже хорошо известно, что человек ,опомнившись и остепенившисъ от какого либо раздражительного состояния, никогда не поступит так, как готов был поступить находясь в пылу своего гнева. А чувство сознания виновности нанесшего обиду или насилие и замолчанную потерпевшим, никогда не выходит из памяти того, кто совершил ее. Ибо такое действие: потерпеть и умолчать —само собой выражает полное презрением негодование и имеет нравоучительное и побеждающее влияние.

И если за Христом осталось бессмертное имя Спасителя ,то главное потому, что он утвердил в душе людей свое глубокое и осмысленное чувство смирения, заключающееся в непротивлении. Сам не противясь, пошел на смерть ,и этим заставил миллионы людей проситъ прощения за совершенную ими ошибку.

И действительно ,кто не видит того, как трагически человечество вечно раскаивается в грехах своих предков, повинных в преждевременной смерти Первоучителя этой правды жизни.

Итак, непротивление есть самый верный способ улажения всяких споров ,а также единственный залог упрочения дружбы и мира между людьми.

Плоды же противоположного отношения людей, признанного большинством, "прав - дою", но составляющего неправду жизни противление злу силою, всецело испробованы и всем нам известны. За обиду обида, за насилие платить насилием создало в обществе людей крайнюю ненависть, всегда умножало зло существующее и внедрило в душу человека безчувственное и беспощадное мщение ,а также увеличило страдания людей. Чуткая и любящая душа Толстого не могла без горести отнестись к сущес - вующей заблужденности мышления и действий людей, считающих все то "важными" делами, что в сущности суть совершенно ненужное и вредное. Властвование одних над другими, разные наказания и лишение людей свободы, эксплуатация и угнетение, войны, и закрепощения и суды считаются законными действиями, нормальными явлениями .Любовъ же и служение ближнему гарантируют мирное сотрудничество и все то ,что весьма красиво ,полезно и необходимо для осуществления счастливой жиз - ни. Работа же над собой каждого человека для освобождения себя от разных соблаз - нов считается большинством "неважным " делом или даже "утопией".

Таким образом, большинство из зол, творимых людьми и направленных против их самих ,ими же оправдываются и по - ощряются, а все гуманное ,достойное чувства и сознания человеческого ими же осуждается и устраняется .Немудрено поэтому, что люди не только еще не братья, но совершенно чужды и враждебны друг другу. И доколе такой суетный образ жизни (по словам Толстого: жизнь по уче - нию мира) будут люди вести, не будет им отрады ни в чем.

Духовное состояние человека суть настоящий фундамент и символ человеческой жизни. С проявлением этого потока света, проясняется всесторонне жизнь и обогащается натура человека. Жизнь становится многозначительной и ценной, ибо творение духа непреходяще в веках.

Негодные дела людей цены не име - ют; жизнь людей по образу учения мира ограничена и жалка, несправедлива, же - стока и до того незначительна, что со смертью человека исчезает и память о нем. А ведь большинство людей ,судя по их тенденциям, да собственным суждениям, не только одним хлебом и интересами сегод - няшнего дня живы. И действительно, если прислушаться к голосу людей, то в каждом в отдельности, безразлично в каком положе нии личном и на такой ступени общественной жизни ни находился бы кто, слышится голос печали и недовольства; а с этим ощу щается какое то стремление к чему то, какое то искание постижения чего то.. Как будто самого главного в жизни всякому недостает .И ищет каждый человек утешения в жизни ,но чаще всего не нахо - дит его.

Вот это то чувство переживаний ,к которому каждый бессомненно стремится, которое иногда срывается с уст человека, но чаще всего остается в глубоких тайниках души его, — и есть та успокоительная струя света ,которая говорит о том, что в человеке заложена потребность любви к ближнему, но он не в состоянии выявить ее.

И, надеясь на пробуждение этого огненного света души — любви в людях, Тол - стой построил свою веру - надежду на возможность осуществления братства людей. Ибо — "Царство Божие внутри нас."

Б. Гершенфельд.

Нью Иорк.

ЯСНОПОЛЯНСКАЯ ШКОЛА

Л. Н. Толстой был не только писателем и философом, но и педагогом. Он основал в Ясной Поляне школу, в которой отсутствовало всякое принуждение. Дети учились, не чувствуя никакого авторитета или давления со стороны учительского персонала.

Ниже мы приводим небольшой отрывок, заимствованный нами из журнала "Ясная Поляна", выходившего под редакцией Л. Н. Толстого. Отрывок, принадлежащий перу Толстого, весьма ярко рисует жизнь и порядки в яснополянской школе.

Школа помещается в двухэтажном каменном доме. Две комнаты заняты школой; одна — кабинетом, две — учителями. На крыльце, под навесом, висит колокольчик с привешенною за язычек веревочкой, в сенях внизу стоят бары и рек (гимнастика), наверху в сенях — верстак. Лестница и сени истоптаны снегом или грязью; тут же висит расписание. Порядок учения следующий: часов в восемь, учитель, живущий в школе, любитель внешнего порядка и администратор школы, посылает одного из мальчиков, которые почти всегда ночуют у него, звонить.

На деревне встают с огнем. Уж давно виднеются из школы огни в окнах, и через полчаса после звонка, в тумане, в дожде или в косых лучах осеннего солнца, появляются на буграх (деревня отделена от школы оврагом) темные фигурки по две, по три и поодиночке. Табунное чувство уже давно исчезло в учениках. Уж нет надобности ему дожидаться и кричать: "эй, ребята, в училищу." Уж он знает, что училище среднего рода, много кое-чего другого знает и, странно, вследствие этого не нуждается в толпе. Пришло ему время, он и идет. Мне с каждым днем кажется, что все самостоятельнее и самостоятельнее делаются личности и резче их характеры. Дорогой почти никогда я не видал, чтобы ученики играли — нешто кто из самых маленьких или из вновь поступивших, начатых в других школах. С собой никто ничего не несет — ни книг, ни тетрадок. Уроков на дом не задают.

Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего, сделанного вчера, он не обязан помнить ныне. Его не мучит мысль о предстоящем уроке. Он несет только себя, свою восприимчивую натуру и уверенность в том, что в школе нынче будет весело так же, как вчера. Он не думает о классе до тех пор, пока класс не начался. Никогда никому не делают выговоров за опаздывание, и никогда не опаздывают — нешто старшие, которых отцы другой раз задержат дома какой нибудь работой. И тогда этот большой, рысью, запыхавшись, прибегает в школу. Пока учитель еще не пришел, они собираются — кто около крыльца, толкаясь со ступенек или катаясь на ногах по ледочку раскатанной дорожки, кто в школьных комнатах. Когда холодно — ожидая учителя, читают, пишут или возятся. Девочки не мешаются с ребятами. Когда ребята затевают что нибудь с девочками, то никогда не обращаются к одной из них, а всегда ко всем вместе: "эй, девки! что не катаетесь?" или: "девки-то, вишь, замерзли", или: "ну, девки, выходи все на меня одного". Только одна из девочек, дворовая, с огромными и всесторонними способностями, лет десяти, начинает выходить из табуна девок. И с этою только ученики начинают обходиться как с равною, как с мальчиком, только с тонким оттенком учтивости, снисходительности и сдержанности.

Положим, по расписанию, в 1-м, младшем, классе — механическое чтение, во 2-м — постепенное чтение, в 3-м — математика. Учитель приходит в комнату, а на полу лежат и пищат ребята, кричащие: "мала куча!" или: "задавили ребята!" или: "будет! брось виски-то" и т. д. "Петр Ми-

хайлович! — кричит снизу кучи голос входящему учителю, — вели им бросить.“ “Здравствуй, Петр Михайлович!“ — кричат другие, продолжая свою возню. Учитель берет книжки, раздает тем, которые с ним пошли к шкапу: из кучи на полу верхние, лежа, требуют книжку. Куча понемногу уменьшается. Как только большинство взяло книжки, все остальные бегут к шкапу и кричат: “и мне и мне! Дай мне вчерашнюю“; “а мне Кольцовую“ и т. п. Ежели останутся еще какие-нибудь два разгоряченные борьбой, продолжающие валяться на полу, то сидящие с книгами кричат на них: “Что вы тут замешались? Ничего не слышно. Будет!“ Увлеченные покоряются и, запыхавшись, берутся за книги и только первое время, сидя за книгой, помотывают ногой от неулегшегося волнения. Дух войны улетает ,и дух чтения воцаряется в комнате. С тем же увлечением ,с каким он драл за виски Митьку, он теперь читает кольцовую (так называется у нас сочинение Кольцова) книгу, чуть не стиснув в зубы, блестя глазенками и ничего не видя вокруг себя, кроме своей книги. Оторвать его от чтения столько же нужно усилия, сколько прежде — от борьбы. Садятся они, где кому вздумается: на лавках, столах, подоконнике, полу и кресле. Девки садятся всегда вместе. Друзья ,односельцы, особенно маленькие (между ними больше товарищества) — всегда рядом. Как только один из них решит, что садится в тот угол, все товарищи, толкаясь и ныряя под лавками, пролезают туда же, садятся рядом и, оглядываясь кругом, представляют на лице такой вид счастья и удовлетворенности, как будто они уже наверное на всю жизнь будут счастливы, усевшись на этих местах. Большое кресло, как то попавшее в комнату, представляет предмет зависти для более самостоятельных личностей — для дворовой девочки и других. Как только один вздумает сесть на кресло, другой уже по его взгляду узнает его намерение ,и они сталкиваются, мнутся. Один выжимает другого ,и перемявший разваливается головой ниже спинки, но читает так же, как и все, весь увлеченный своим делом. Во время класса я никогда не видал, чтобы шептались, щипались, смеялись потихоньку, фыркали в руку и жаловались друг на друга учителю. Когда заученный у пономаря или в уездном училище ученик приходит с такой жалобой ему говорят: что же ты сам не щипешься.

Два меньшие класса разбиваются в одной комнате, старший — идет в другую. Учитель приходит и в первый класс, все обступают его у доски или на лавках, ложатся или садятся на столе вокруг учителя или одного читающего. Ежели это писание — они усаживаются покойнее, но беспрестанно встают, чтобы смотреть тетрадки друг у друга и показывать свои учителю. По расписанию до обеда значится 4 урока, а выходит иногда три или два, и иногда совсем другие предметы. Учитель начнет арифметику и перейдет к геометрии, начнет священную историю ,а кончит грамматикой. Иногда увлечется учитель и ученики, и вместо одного часа класс продолжается три часа. Бывает, что ученики сами кричат: “нет, еще еще!“ и кричат на тех, которым надоело. “Надоело, так ступай к маленьким“, говорят они презрительно. В классе закона Божия, который один только бывает регулярно, потому что законоучитель живет за две версты и бывает два раза в неделю ,и в класс рисования — все ученики собираются вместе. Перед этими классами оживление, возня, крики и внешний беспорядок бывают самые сильные: кто тащит лавки из одной комнаты в другую, кто дерется, кто домой (на дворню) бежит за хлебом, кто припекает этот хлеб в печке, кто отнимает что нибудь у другого, кто делает гимнастику, и опять так же, как и в утренних вознях, гораздо легче оставить их самих успокоиться и сложиться в свой естественный порядок, чем насильно рассадить их. При теперешнем духе школы остановить их физически невозможно. Чем громче кричит

учитель — это случалось — тем громче кричат они: его крик только возбуждает их. Остановишь их или, если удастся, увле - чешь их в другую сторону ,и это маленькое море начинает колыхаться все реже и реже — и уляжется. Даже большей частью и говорить ничего не нужно. Класс рисованья, любимый класс для всех, бывает в пол - день, когда уже проголодались, насиделись часа три, а тут еще нужно переносить ла вки и столы из одной комнаты в другую, и возня поднимается страшная: но, несмотря на то, как только учитель готов, ученики готовы ,и тому, кто задерживает начало класса, достается от них же самих.

Часа в два проголодавшиеся ребята бе гут домой. Несмотря на голод, они, однако, еще остаются несколько минут, чтобы узнать, кому какие отметки. Отметки страшно занимают их. “Мне 5 с крестом, а Ольгуше нолю какую здоровую закатили! А мне 4!“ — кричат они. Отметки служат для них самих оценкой их труда, и недовольство отметками бывает только тогда, когда оценка сделана неверно. Беда, ежели он старался, и учитель, просмотрев, поставит ему меньше того, что он стоит. Он не даст покою учителю и плачет горькими слезами, ежели не добъется изменения.

После обеда собираются также, как утром, и дожидаются учителя. Большей ча - стью первым уроком бывает священная или русская история, на который собираются все классы. Урок этот начинается обыкновенно еще сумерками. Учитель становит - ся или садится посредине комнаты, а толпа размещается вокруг него амфитеатром — кто на лавках, кто на столах, кто на подоконниках.

Все вчерашние уроки, особенно этот первый, имеют совершенно особенный от утренних характер спокойствия, мечтатель - ности и поэтичности. Придите в школу сумерками — огня в окнах не видно, почти тихо, только вновь натасканный снег на ступени лестницы, слабый гул и шевеленье за дверью, да какой нибудь мальчуган ,ухватившись за перила, через две ступени шагающий наверх по лестнице, доказывают, что ученики в школе. Войдите в комнату. Уж почти темно за замерзшими окнами; старшие, лучшие ученики прижаты другими к самому учителю и, задрав головки, смотрят ему прямо в рот. Дворовая самостоятельная девочка с озабоченным лицом сидит всегда на высоком стуле, — так и кажется, каждое слово глотает; поплоше ре - бята, мелкота, сидят подальше, они слуша - ют внимательно, даже сердито, они держат себя так же, как и большие, но, несмотря на все их внимание, мы знаем, что они ничего не расскажут, хотя и многое запомнят. Кто навалился на плечи другому, кто вовсе стоит на столе. Редко кто, втиснувшись в самую середину толпы, за чьей нибудь спиной занимается выписыванием ногтем каких нибудь фигур на этой спине. Редко кто оглянется на вас. Когда идет новый рассказ — все замерли; слушают. Когда повторение — тут и там раздаются самолюбивые голоса, не могущие выдержать, чтобы не подсказать учителю. Впрочем, и старую историю, которую они любят, они просят учителя повторить всю своими сло вами и не позволяют перебивать учителя. “Ну ты, не терпится? Молчи!“ крикнут на выскочку. . . Кажется, все мертво, не шелохнется — не заснули ли? Подойдешь к полутъме, взглянешь в лицо какому нибудь маленькому — он сидит, вперившись гла - зами в учителя, сморщивши лоб от внимания, и десятый раз отталкивает с плеча навалившуюся на него руку товарища. Вы щекотите его за шею — он даже не улыбнется, согнет головку, как будто склоняясь от мухи, и опять весь отдастся таинственному поэтическому рассказу. Но вот учи - тель кончил рассказывать, и все поднимаются с места и, толпясь к учителю, перекидывая один другого, стараются пересказать все, что удержано ими. Крик поднимается страшный, и учитель насилу может следить за всеми. Те, которым запретили говорить, в уверенности, что они знают, не успокаиваются этим: они приступают к дру гому учителю, ежели его нет — к товари-

щу, к постороннему, к истопнику даже, ходят из угла в угол подвое, потрое, прося каждого их послушатъ. Редко кто рассказывает один. Они сами собираются группами, равными по силам, и рассказывают, поощ - ряя, поджидая и поправляя один другого. "Ну, давай с тобой", говорит один другому, но тот, к кому обращаются, знает, что он ему не по силам ,и отсылает его к другому. Как только повысказались, успокои - лись, приносят свечи, и уже другое наст - роение находит на мальчиков.

Часов в 8 уже глаза соловеют; начинают позевывать, свечки темнее горят — реже снимают, старшие удерживаются, мла дшие — худшие — засыпают, облокотившись на стол под приятные звуки говора учителя. Иногда, когда классы бывают интересны и их было много и ребята устали, или перед праздником, когда дома печки при готовлены париться, вдруг, не говоря ни слова, два или три мальчика забегают в комнату и спеша разбирают шапки. "Что вы?" —"Домой. —"А учиться? —Ребята говорят: домой! — отвечает он, ускользая с своей шапкой. "Да кто говорит?" —Ре - бята пошли! —"Как же, как? — спраши - вает озадаченный учитель. —Останься!" Но в комнату вбегает другой мальчик с разгоряченным, озабоченным лицом. "Что стоишь? — сердито нападает он на удерживанного, который в нерешительности запра вляет хлопки в шапку: —Ребята уж во-он где, у кузницы небось." —Пошли? —"Пошли." И оба бегут вон ,из за двери крича: "Прощайте, Иван Иванович!" Такие слу - чаи повторяются раз и два в неделю. Оно обидно и неприятно для учителя — кто не согласится с этим, но кто не согласится тоже, что вследствие одного такого случая насколько большее значение получают те пять, шесть, а иногда и семь уроков в день для каждого класса, которые свободно и охотно выдерживаются каждый день учениками.

Л. Н. Толстой.

Открыта подписка
НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ
ПРОБУЖДЕНИЕ

Орган свободной мысли, издающийся русскими прогрессивными организациями Северной Америки.

ЖУРНАЛ ПОСВЯЩЕН ВОПРОСАМ: ПОЛИТИКИ, ЭКОНОМИКИ, ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ, НАУКИ, ФИЛОСОФИИ, ИСКУССТВА, ЛИТЕРАТУРЫ И КРИТИКИ.

К УЧАСТИЮ В ЖУРНАЛЕ ПРИГЛАШЕНЫ ИЗ ЕВРОПЫ И АМЕРИКИ ЛУЧШИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ СИЛЫ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:

НА ГОД — 1 ДОЛЛАР 75 СЕНТОВ. НА ПОЛГОДА 1 ДОЛЛАР

ПОДПИСКУ, ВСЕ ЗАКАЗЫ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ПРОСЯТ АДРЕСОВАТЬ:

"PROBUZHDENIE"

9219 Russell Street, Detroit, Michigan